

## Предисловие

Хотя на обложке стоит мое имя, я не являюсь автором этой книги. Она состоит полностью из воспоминаний моей мамы, **Татьяны (Тайбы) Израилевны Мостковой**, написанных в период 1976 - 1980 гг., ее личного письма Борису Р, где она рассказывает о биографии и жизни моего отца, Баскина Иосифа Моисеевича, и нескольких устных рассказов, записанных с ее слов моим отцом. О встрече с родными через 40 лет в Мексике и США мама рассказала в письмах оттуда.

Я считал также возможным после рассказа мамы о жизни отца приложить к книге оригинал его заявления Генеральному прокурору СССР, написанного в декабре 1939г и документов о его освобождении из ссылки, пересмотре дела и реабилитации. Отец также оставил воспоминания о своей жизни, часть из них издана в России и Израиле на русском языке, а часть еще ждет своих исследователей.

Рукописи мамы хранились у моего брата, на их основе он написал книгу «Ветка дерева», изданную в Израиле тоже на русском языке. После смерти брата я еще раз перечитал мамины рукописи и понял, что лучше всего о себе, своей жизни и семье, о жизни людей в то тяжелое время, может рассказать только она сама, ее живая память, и публикую ее записи, не трогая ничего, кроме редких грамматических и стилистических ошибок. Я рад, что смог издать ее в Израиле на русском языке и надеюсь, что когда-нибудь мои внуки или правнуки смогут перевести ее на другие языки, надеюсь, что она будет интересна израильскому или американскому читателю.

Думаю, что если бы моя мама еще была жива, и сама опубликовала свои воспоминания, она посвятила бы их своей матери Шифре Мостковой, а в ее лице всем еврейским матерям.

Я, со своей стороны, посвящаю ее светлой памяти моих родных, убитых в 1942 году в Браславском гетто.

## Вспоминая детство

Мои первые неясные воспоминания разделяет черта - до пожара и после. До пожара, который был, вероятно, в годы революции, т.е. до 1918-19г., ярких, образных впечатлений мало. Просыпаюсь рано утром, в окнах еще темнота, а на стене горит светильник матовым светом, обстановка приличная, мебель довольно богатая. Это столовая моего дома, вероятно того дома, в котором я 7-8 лет тому назад родилась. Сейчас дверь в спальню полузакрыта, папа стоит спиной ко мне и заглядывает в щель. Там, в спальне на широкой двухспальной кровати, вся в белом, лежит моя мама. Она рожает. У ее ног акушерка, дородная, добродушная Кейля (Клара), так мне кажется ее звали, а может быть и Роза. Какого из моих братьев мама рожала - я могу только предположить - Михаил, 1917 года рождения, Лева, - 1914г. Вероятно это было в 1917 году и мне было 6 лет.

Улица была, конечно, деревянная, дома стояли часто, и она, вероятно, вся сгорела в недалеком будущем. До меня, на 3 года раньше, родился мой старший брат Абрам, а всего моя семья создалась, вероятно, в 1907 - 1908 годах. Все остальные мои воспоминания относятся уже к более поздним годам. Так, помню польскую оккупацию. Прибежала я в школу - в первый класс, и вспомнила, что ручки нет. Побежала обратно домой и тут же возвращалась. Помню, как сейчас - меня остановил патруль и вернул домой, и мы все уже никуда не ходили, а сидели в своем доме, в своем дворе - все соседи при защитных воротах, и ждали...кто-то придет и чего-то потребует. Складывались все и держали деньги при себе, чтобы откупиться. Это уже было в другом доме, на другой стороне Садовой улицы, у хозяина Вольфсона во дворе, во флигеле, рядом с большой цементной уборной. В большом парадном доме жил сам хозяин, которого в скором времени вытеснили (вселили в 3 комнаты) Советы, и заняли дом таможней. Все это было через несколько лет, уже после пожара. Помню всю сгоревшую улицу, стояли кирпичные печные трубы, развалины. В них мы играли в прятки, прятались от родителей, и они нам служили прибежищем в дни праздников и в будни. В этом доме мы жили до 1928 - 29 года и отсюда уехали потом папа, Абрам, и мама с детьми. Об этом периоде

моей жизни помнится больше и хочется написать со своих впечатлений о моих предках, в основном о слышаном.

Итак, мы живем во дворе дома Вольфсона. Парадный дом большой, в 6 - 8 больших окон, с парадным каменным крыльцом. Рядом с нами вновь отстроенная синагога на углу, огороженная дощатым забором, и небольшая улица, тоже сгоревшая, с выходом на базар. Вдоль этой улицы, отступая совсем немного - метров 20-40, течет тихая речка Случь - место нашего ребячьего раздолья. Здесь мы купались, не раз и не два в день, здесь полоскали белье, мыли посуду, чистили кастрюли и переходили вброд, лазили за кувшинками и ходили наочные свидания.

В глубине двора стоял старый домик, разделенный на две половины с общим крылечком и прихожей. Дверь прямо шла к нам, а направо к нашим соседям - старикам. Открывая дверь, мы заходили в большую кухню с выщербленным полом, который было очень неприятно мыть. В переднем углу кухни красовалась огромная русская печь, которая обогревала почти весь дом и служила маме для приготовления пищи. Под печкой был курятник для кур. Окно во дворик было напротив печки. Прямо за печкой была небольшая комната 10-12<sup>2</sup>, детская или девичник. Там жили я и мои двоюродные сестры Маша и Нина, которых моя мама приютила после смерти их мамы в Саратове от туберкулеза. Их папа Бунин Исаак привез к родным, сам хотел устроиться и заработать на жизнь. Получилось так, что он уехал в Минск за товаром, а дорогой обоз настигли бандиты, ограбили, привязали к дереву и сожгли. Вот эти девочки остались с нами.

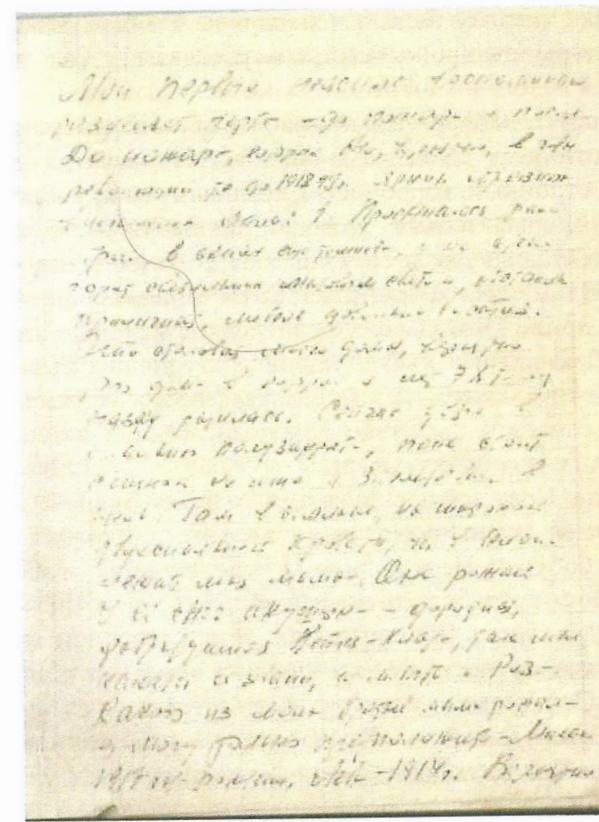
Влево от входа помещалась зала и небольшая спальня. Вся обстановка уже была более чем бедной, но в зале сохранилось от старой квартиры зеркало с красивыми ножками и шкаф-комод с потайными ящичками и откидным верхом. Это все, что осталось от былого благополучия и, по рассказам мамы, все это собрали моим родителям из богатого дома родственников мамы - Поляк, которые вероятно уехали - убежали в Москву, Ленинград или даже заграницу. Мама точно не знала, куда они делись. Но были богатые люди Поляк - по фамилии, от которых происходила моя обедневшая бабушка Песя Поляк, вышедшая замуж за парня бедного, но очень интеллигентного и ученого и, как тогда говорили, хозяйственного,

т.е. почтенного, с доверием, Нахмана Боруховича, родила ему 11 детей, из которых дожили до старости двое. Помню, как мой отец прятался в развалинах пожарища, от кого он прятался - я не знаю. Вероятно, от мобилизации. Он голодал - наживал себе язву желудка. Многие рубили себе пальцы. Помню, как уже в революцию горел город, горела наша галантерейная лавка - собственность и все состояние моих родителей, горел базар и мы, дети, сидели с соседкой у окна и наблюдали за пламенем и плакали, что до сих пор нет мамы с папой.

В эти далекие детские годы с нами в уголке спальни жила наша бабушка Хая. Это была маленькая, тихая, очень старая женщина. Помню ее богатство - сундучок маленький, кованый, и в нем разноцветные клубочки ниток. Она вязала, и нитка всегда плелась где-то по полу, и кошка наша сибирская, пушистая, все норовила его подальше закатить, чтобы вдоволь наиграться. Эта бабушка - мать моего отца Исрола Мосткова. Прожила она всю свою жизнь в далекой деревне-местечке где-то на границе с Польшей, около Несвалок. Я даже голоса ее не помню, настолько она была безвластна и молчалива. Эта женщина родила и вырастила, или они сами выросли, много детей. Я знала ее младшего сына, - моего отца, который родился в 1880 году, слышала о старшей дочери Тайбе, сыне Мотле, дочери Гинде, самом младшем сыне Эйзере и еще. Домик их стоял у моста и поэтому, по преданию, и фамилия пошла Мостков. Чем занималася ее муж, мой дед Лейба, я не знаю, и не у кого спросить. Был он бедняк - это я точно знаю, и подраставшая молодежь уехала в Америку.

Это было примерно в конце прошлого века. Уехали старшие братья и с ними мой 15-летний будущий пapa. Попали они в Миссисипи, и бедствовали, занимаясь мелкой торговлей и ремеслом, а дяди чем-то занимались у хозяина. Они были педлерами, разносчиками, с мешком, накинутом на плечи они разносили всякий мелкий товар, в основном галантерею. Когда мы, дети, подрастали и просили кушать в те голодные 20-е годы, пapa нам говорил: «Вот в Америке мы кушать не просили, а хозяин нам говорил - смотрите на колбасу и ешьте хлеб, напейтесь холодной воды и прислонитесь к горячей печке - будет вам чай по-американски. Так надо». Про меня

соседки говорили: «Замечательная девочка - целый день играет и даже есть не просит».



Рукопись мамы

Таким образом мой отец прошел первую школу жизненной закалки в Америке. Когда он подрос и стал женихаться, он заскучал по далекому дому, а может быть невесту себе не нашел, но ему уже было за 25 лет, когда он вернулся в Россию и стал женихом моей, уже немного застаревшей, 27-летней будущей мамы. Но о маме потом. Папа мой от природы был добрым человеком, покладистым, но Америка отложила в нем склонность - бережливостью, грубостью, эгоизмом и, конечно, отсутствием грамоты и интеллигентности. Помню, какой

он был аккуратный. Костюм и шляпа (новинка в то время) всегда висели в шкафу, как положено, ботинки (а их в самую тяжелую пору жизни было несколько пар) блестели и мое лицо в них отражалось. Воротнички твердые белели и менялись. Он был рыжеволосый, чуть веснушчатый, пышноволосый, голубоглазый. Таким он представал перед моей мамой в 1907 году.

Моя мама - Шифра Нахмановна Борухович. Про ее отца, моего деда, к которому я была больше всех привязана, я уже писала. Высокий, стройный, горбоносый, темноволосый, добродушный - жил под г. Слуцк на выселках - Остров. Моя бабушка Песя была знатного рода, но обедневшего, и ее засватали за бедного, но ученого парня. Дедушка Нахман и его брат (отец Енты Моиссеевны) учились в хедере и затем в ешиве - это высшее религиозное училище. Дедушка имел и общее образование выше среднего уровня, был от природы культурным и обаятельным человеком, всеми уважаемым в деловых кругах и синагоге. Дедушке доверяли, ходили за советом, ходили одолживать и сами одолживали.

Бабушке Песе дали в наследство лавку тканей, в которой она продержалась очень мало из-за плохого состояния здоровья. По рассказам бабушка Песя родила 11 человек детей, из которых я знала троих, - мою маму, старшую и любимую дочь Шифру, и младших Малку и Михаила. Об остальных детях говорили шепотом. Один парень был психически слаб и ушел из дома, говорили в море, и не вернулся. Остальные дети умирали в детстве от разных болезней. Я помню бабушку уже больной. Умерла она от болезни почек. Лежала в постели слабой и, подозвав меня, спросила - лед уже пошел? (это наступала весна), я побежала смотреть лед и, возбужденная, прибежала, торопясь с ответом - да, лед идет. Бабушка вздохнула, сказала - вот и я скоро умру. Помню еще раньше - она еще ходила, взяла меня за руку и повела в лавку своих знакомых, где купила отрезы мне на несколько платьев к школе. Помню клетчатое платье. Значит это было в моем 6-7 летнем возрасте. В этих платьях я и пошла впервые в школу. Я не оговорилась, я в школу одела сразу 3 платья - одно на другое, так мне казалось лучше показать себя, да и дома не было никого.

Так вот, старшая дочь моего дедушки была хозяйственной, умной и, из-за болезни своей мамы и многодетности, она вела хозяйство и

дела дедушки. Дедушка был специалистом по пушнине и другому сельскохозяйственному сырью. Помню, что в его квартире всегда висели связки сухих грибов, от которых очень вкусно пахло. Ему приносили обработанные шкурки зверей, и он их разглаживал, оценивал и, никогда не обманывая, говорил истинную цену. Его слово было законом. Позже, в годы 20-е, он из первых бывших хозяев и мелких торговцев был принят на работу в Советскую таможню, специалистом с оплатой 25 рублей в месяц, был членом профсоюза, что было очень почетно.

Моя мама была умной и деловой. Рассказывали, что у них однажды загорелся дом, а в кладовке лежали ценные шкурки. Дедушка вскочил ночью, растерялся и стал молиться богу. Моя мама в одной ночной сорочке - будучи уже невестой, раскрыла окно и выбросила весь товар, т.е. спасла дедушку и все его состояние. Об этом рассказывали много раз и в других случаях. Образования моя мама не получила, т.к. была старшей в семье и несла все тяготы домашнего хозяйства. Тянуло мою маму в политику, в общественную жизнь. Участвовала она во взаимопомощи, дружила с бедными и обедневшими людьми, собирала на них помощь, и сама помогала всем, чем могла.

Так, она дружила с Хасей Рабинович. Муж ее был очень образованным, но больным и горбатым человеком, и эта бедная женщина одна вынуждена была кормить всю свою многочисленную, одаренную и нищую семью. Мама все время им помогала, а в свои трудные годы помогала через людей, т.е. собирала для них пожертвования. Моя мама в партии «Бунд»<sup>1</sup> не состояла, но была близка к ним и близка к революционному движению. Почему такая симпатичная и умная женщина засиделась в девках? Так бывает. Был у нее человек, очень любивший ее, но он был сапожник и не пара ей - престиж. Тогда это было очень важно - брат ниже своего сословия не разрешали родители. Когда мама впервые познакомилась с папой, ее привлек его молодцеватый вид, собранность, но его американский характер тоже не ушел от ее взгляда. Но пришла пора создавать семью, и они поженились. Маме дали приданного немного - галантерейную лавку с галстуками, пуговицами, лентами, которые коробками стояли не только в лавке, но и дома под кроватью. Мы,

дети, которые вскоре появились, играли с этой галантереей, но дать средств к существованию она не могла.

Что я помню? Просыпаюсь ночью и слышу мамин плач. Вышла босая в залу, а там у горячей печки - голландки стоят папа, мама и папин племянник - уже молодой человек 17-18 лет Цукович Исраэль, сын старшей сестры. Мама в горючих слезах рассказывает ему, что папа не дает ей денег на жизнь и ей нечем кормить детей, а их уже тогда было четверо и скоро появилась пятая. Помню, как папа замерзший приходил к вечеру домой недовольный, мрачный, один ужинал и аккуратно обрезал острым ножом корочки белого ситного хлеба, а мы, стая полуголодных зверят, сидели вдали и смотрели ему в рот. Потом он принимался считать выручку и все снова складывал и прятал. Братья, младше меня на 3 и 6 лет, росли слабыми с округлыми животами от излишней бульбы, которую они поедали. Садились за чугуном картошки, крупной, рассыпчатой (сейчас бы не отказалась от такой), и стаканом огуречного рассола и уплетали со смаком. Лесу так и называли - картофлянник. Одеты мы были кое-как. С ранней весны ходили босиком, ноги были в цыпках. Одежда шла от старшего к младшему. Не помню, чтобы мы ели вдоволь сметаны, яиц, даже молока. Помню картошку. В школу брали с собой яблоко или грушу. Это было самое дешевое.

Были у нас и радостные дни. Весна, апрель. Скоро пасха. Все суетятся. Выставляются зимние рамы и выносятся на чердак. Моя обязанность - мыть рамы, мыть стекла мылом и тщательно его потом убирать. Над большим обеденным столом в зале висячая лампа металлическая, которую я обкручиваю зеленой папиросной бумагой. Вся кухонная посуда тщательно чистится до медного блеска, до белизны, а потом прожаривается на костре. Ведь на пасху надо все, все новое, стерильное. Долой хлеб, крупу, все должно быть пасхальное - маца, крупа из мацы, специальное вино, мясо, куры, пасхальный жир. Старая посуда выносится в кладовую, на чердак, вся квартира моется, красится, выметается и вносится новое, свежее, специально пасхальное. Все, что можно, мы, дети, тащили на речку - там песок и вольготно все мыть и чистить. Стиркой белья занимается мама, иногда даже приглашает прачку. Все белое белье кипятится, полощется на речке, крахмалится, а затем проглаживается не утюгом, а каталкой до блеска, до мягкости и гладкости. Это пасха.

Но есть еще и субботние дни - праздничные. Тоже идет уборка и подготовка. Еще в четверг с вечера мама чистит много моркови, трет ее на терке и готовит огромный горшок глиняный, обвитый проволокой. Это цимес. В морковь закладывается кугель (мучная заправка - тесто с жирным куском мяса). В другом горшке, тоже ведерном, варится компот из сухофруктов, в основном из яблок и груш. На субботу режут курицу. Это тоже наша работа. Несу ее к резнику за пару копеек. Где-то на соседней улице в маленьком домике он живет. Выходит резник, худой человек в ермолке черной и в черном длинном пиджаке, как ходят все набожные евреи, берет у меня курицу за холку и отходит немного в огород. Обнажает низ шейки, отщипывает немного перья и чикает горлышко. Я закрываю глаза, курица бьется, трепещет, а потом затихает. Я ее беру за ножки и тащу волоком домой. Дальше моя работа - ее ощипать. Иду в сарай, одеваю на мою косматую голову платочек, иногда и передник, и начинаю с ножек щипать. Потом крылья, а труднее всего голову. Работа не из приятных, но надо. Особенно много мне пришлось их ощипывать у дедушки, когда я одна жила с ним после смерти бабушки Песи.

Иногда вместо курицы варились мясо - постная говядина. Но следовало к субботе иметь курицу, и моя мама старалась. В пятницу мама вставала очень рано, затапливала русскую печь и ставила туда горшок с курицей, морковкой и луком. Это был бульон, и тушила картошку с черносливом. Это называлось голит, дальше ставился горшок моркови - цимес, компот и черное кофе (не настоящее, а суррогат). К нашему вставанию мама уже управилась с печкой и уходила на работу, помогать папе в лавке, а мне наказывали вымыть полы, они были когда-то крашеными, но уже вытершиеся. Работы было много. Первые комнаты я мыла спокойно, но когда очередь доходила до большой кухни, я, уже уставшая, начинала филонить. Пропускала углы, плохо вытирала. Мальчики тоже хотели поесть, схватить чего-нибудь, и я их хлестала мокрой тряпкой по босым ногам. Иногда эта борьба и мойка затягивались до прихода папы с мамой, и тогда мне доставалось.

Весь день в пятницу мы толком ничего не ели, только таскали куски. Зато в пятницу вечером, когда заходило солнце и начиналась долгожданная суббота, мы оживали. Надо было к этому времени и

сходить в баню или дома выкупаться, почистить обувь и одежду. Главную работу делала моя аккуратная и деятельная мама, да и папы побаивались.

Итак, праздничный ужин. За длинным столом, накрытым поверх обычной kleenki белой скатертью, расставлены приборы, стоят маленькие тарелки для селедочки или печенки-паштета от курочки. Все чистые, смирные, голодные - ждут. Мама делит курицу и приговаривает «Куриную ножку мужчинам - папе и старшему брату. На них семья стоит, все наше благополучие. Крылышки девочкам, они вырастут и улетят от нас». - «Мама, ведь ты все раздала, а себе ничего не оставила» - «Нет, мои дорогие, мне остается попочка - хватит с меня».

Ложимся спать сытые, пресытые, выкупанные, а мама еще чего-то делает, ее не слышно. Утром просыпаемся - каждому у кровати приготовлена чистая одежда, даже обувь вся вычищена, а зимой даже нагрето в духовке все. Утром не торопятся, чинно выходят в зал, на столе стоят потухшие свечи, которые вчера горели и выгорели (их тушить нельзя), и мама, закрывая ладонями лицо, молилась на них. Утром из печки вытаскивается чугунок с кофе, мы пьем его, закусывая сдобой, испеченной мамой в пятницу рано утром. Стоят в буфете и халы, которые мама тоже испекла на субботу. Все уходят в синагогу молиться. Все во всем праздничном. Мы, дети, тоже туда заглядываем, а больше бегаем по двору синагоги-школы. В обед мы едим голит - горячую коричневую тушенную картошку, ставится бульон, цимес и пьем компот.

Днем папа спит. Ставни закрываются, все ходят на цыпочках, шуметь нельзя - папа спит. Все для субботы. Ради этого можно всю неделю недоедать, отказывать себе во многом. Но суббота святая - святых. И ждешь этой субботы, начиная с воскресенья. В субботу нельзя! - зажигать свет, тушить его, работать, считать деньги, покупать и продавать, - можно отдыхать, есть, пить, спать. Неплохо.

Про пасху я еще не все рассказала. Пасха - это главный праздник весны, когда недельный отдых, чистота, сытость, удовольствие. Символ пасхи - освобождение евреев из неволи. Победа, так кажется. О подготовке к пасхе я уже писала. Вместо хлеба едят мацу. Белую тонкую, но ее не было и ели толстую, черную, самодельную, но мацу и только мацу. Из нее делали клецки, крупу, муку с яйцами. Нашу

мацу ставили в выстланных белыми простынями корзинах в нашей девичьей комнате, ноге-коге, в углу, в надежде, что девочки баловаться не будут. Но мы ночами баловались - тихонько под одеялом грызли мацу, признаться надо.

Готовили специальное пасхальное вино и угощали им ангела - алио-гановы, пришедшего как будто в эту ночь. Младший сын искал спрятанную мацу под подушкой около отца. Пели песни, спрашивали, и в песнях отвечали хором. Ежедневно ходили молиться и гуляли в солнечные апрельские дни. Забывали о всех невзгодах. Были праздники с постом. Помню это ощущение. «Я буду поститься весь день». - Да ты еще маленькая, тебе хватит полдня. - «Нет, весь день» - и я горжусь. Итак, в пятницу последний раз покушали плотно, но весь субботний день длинный и есть хочется. Ждешь в субботу вечером появления звезд, - когда можно будет уже готовить ужин. Вот уже можно. Некогда чистить картошку. Мама моет целую, укладывает в чугунок, затапливает печку березовыми дровами и вот уже кипит чугунок. Чистится селедочка. Мне хвостик, а мне головка. Папе середочка. Кто постился - первый садится за стол, и как вкусна картошка с селедкой, как счастлив, что выдержал испытание вместе со всеми взрослыми, постился до конца.

Все это праздники, которые запомнились - запечатлены в связи с радостями, вкусовыми впечатлениями. Но будем вспоминать о буднях, а их было много вплоть до моего 16-летнего возраста, когда я села в поезд Слуцк - Москва с пересадкой, кажется, в Осиповичах, Минске и, кажется, Смоленске и приехала в булыжную - Белорусский вокзал - Москву с большой плетенной корзиной (чемоданы у нас не водились), в котором вместились мои 2-3 ситцевых платья, зимнее залатанное пальто и даже, кажется, подушка пуховая или даже перина. Все, что мама мне смогла выделить. Был и фанерный баул с провиантом. В кармане, вшитом в белье, лежали 25 рублей (капитал довольно солидный и единственный, который был у меня уже потом в течение всех лет учебы и даже труда, это дал дедушка мне).

Будем вспоминать будни.

Дизентерия. К нам приехала девушка Двейра-Дора, племянница моего отца. Мама была очень, очень добрая и всех жалела. Какое-то у них дома случилось несчастье, может быть она осталась сиротой и ее отправили к нам. Красивая была и статная, а мне было 10 лет, и мы

грызли яблочки величиной с орех - только завязавшиеся, и их было обилие - вокруг сады бездомные из-за пожара. Помню только, что меня отправили в аптеку за лекарством, и я стеснялась открыть дверь, сидела на улице и не смела постучаться и открыть дверь аптеки - там работал провизором мой дядя (двоюродный брат моей мамы Хаим Юдя). Так и сидела. Потом прибежала домой и сказала, что была, что лекарства не было, но мне сказали - уже не надо! Я сразу не поняла и даже обрадовалась, что не надо. Взглянув на мрачное лицо моей мамы, я поняла. В спальне лежала Двойра уже мертвая. От дизентерии она умерла. Помню, что мама рвала на себе волосы, она еще и была беременна. Нам, детям строго - настрого наказали яблочки не рвать и не есть. В августе 1921 года моя мама родила дочку и ее называли Двойрой (Дорой).

За водой. Колодца у нас не было близко, воду брали для все дел из речки. Мама нас, детей, посыпала за водой для питья в хороший, глубокий, с журавлем колодец во двор к богатому мужику (вероятно ему за это платили). Это было далековато. Надо было пройти наискось через сгоревшую, заросшую высокой травой бывшую улицу, мимо пепелищ и развалин, около которых продолжали расти и цвести яблочки и замечательные слуцкие груши. Дело было для нас не очень приятное и мы торговались - кому идти, и частенько отлынивали. Все же я помню удовольствие от этого мероприятия. Для носки двух ведер воды был приспособлен длинный шест или даже 2 шеста с хорошими обтесанными ручками. Туда за водой мы бежали, прыгая на шестах, лязгая ведрами. Старались идти компаний. Звали соседних ребят - пойдем с нами за водой. И шли. Журавель в колодце шел хорошо и быстро, и кадка была полна пузырчатой, холодной, вкусной водой. Мы вдоволь, как кони, напивались, вздыхали и снова пили (баловаться у колодца нельзя было). Потом наливали полнехонькие ведра. На середину ушек ведер продевались шесты и выносили со двора как неизмеримую ценность. Уравновешивали, и парами шли по глубокой, пущистой травке, по вытоптанной дорожке, босиком, напрягая свою нарастающую молодую силенку, щупая свою напрягающуюся мускульную силу. Мальчики, девочки, все вместе радовались, смеялись от труда полезного, нужного и приятного. Мы останавливались раза два, ложились в траву распластавшись и смотрели вверх, зажмурив глаза

и вдыхая аромат свежего воздуха, свежей зеленой травы. Такое счастье ощущалось при тесном соприкосновении молодого тела с влажной, пахнущей свежестью травой. Росла там трава - натуральный клевер или, как мы говорили, конюшина. Мы поднимались и бегали взапуски, рвали ромашки - крупные, полные и отсчитывали - любит, не любит, плонет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Радости не было границ.

Наш берег. Река Случь пересекала наш милый город Слуцк пополам. Говорили - я живу за рекой. Садовая улица шла лучом к реке, а так как наш дом был крайним, то нам оставалось только пройти только синагогу и перебежать неширокую, пыльную дорогу и мы на речке. Берег был мягкий, песчаный, вытоптанный. По обеим сторонам подальше были замечательные заросли кувшинок и мы, не боясь глубины, рвали цветы на длинных стеблях на венки. Берег служил нам не только для купания, для удовольствия. Здесь мы учились труду - тому, что ни в одной мастерской не научишься. Стирка мелочи - была нашим делом все лето, и даже зимой ходили полоскать в поломку, не боясь холода и ветра. Стирали все, что только в руки и глаза лезло. Белье грязное не залеживалось, мы его уносили на речку. Стирка сочеталась с купанием, т.е. мы грязное намыливали и оставляли на солнцепёке для достиривания, а потом тщательно полоскали. Бывало возьмешь какую-нибудь вещь и заплыvешь с ней на глубину, где купаться лучше. Бывали и потери. У меня даже была неприятность, довольно большая. Приехала из Москвы тетя Малка, она училась в академии имени Крупской. Это было, правда, уже в 1925 году, когда мне было 14 лет. Приехала она в очень симпатичном темном маркизетовом платье с белым кружевным воротничком и такими же манжетами. Она сняла свое хорошее платье, а воротничок и манжеты оторвала для стирки. Я, не спросясь, взяла их, так как отправлялась купаться и хотела сделать ей сюрприз. Представьте себе, что я в речке потеряла одну из манжеток. Признаться я не смогла, говорила, что все принесла - дома потерялась, но до сих пор помню, как я страдала.

На речке мы чистили посуду. Песочком, песочком, ручками, каждое пятнышко снималось. А потом полоскалось и подсушивалось. Домой мы таскали гору металла, связку белья. Да, сушили белье, даже расстилали белье поверх зеленой травы и оно на солнце

отбеливалось. Купали малышей. Старшие девочки водили сморканных, закаканых и всяких братьев и сестренок, усаживали их в водичку на песочек и драили до бела, а те и плакали, и смеялись, но всегда увязывались за старшими. Мы купались до посинения, часами не вылезали из воды. Мы уроки ходили учить на речку и прятались от мамы в случае беды или проказы тоже на речке. Когда я ходила к своей подруге Перле Рабинович, я не шла кругом через мост, а снимала штанишки (или мы вообще ходили без штанов), поднимала платье выше пупка, закрывая край своей мордой и переходила речку вброд. На этой речке и взрослые носили белье полоскать, и воду носили для всех прочих нужд, и коров поили и лошадей и т.д. Речка была вторым домом.

Бывали у речки и войны. Две команды ребят с обеих сторон реки воевали деревянными ружьями, плакали и даже бывали пораженные и победители. Мы боялись этих сражений, и мама братьев не пускала, и они еще и малы были. Купались в речке и барышни из Тройгай, предместья города. Красивые, дородные девахи. Рядом стояла воинская часть и про девчат плохо рассказывали. Я к ним подплывала, но не знакомилась. Это были годы, когда вышла книга Вересаева «За закрытой дверью», и в моей головушке уже роились взрослевшие мысли. Что-то мне зачесалось, и я решила, что заболела дурной болезнью от купания с этими девками. Долго терпела, а потом призналась маме и пошли мы к врачу. Она меня осмотрела и сказала «читаете, чего не следует».

Семья. Хочется описать наш быт в мои 10-13 лет в семье моих родителей, так как дальше семья распалась, отец уехал, а меня взял к себе дедушка. Итак, моя мама в августе 1921 года родила самую младшую - девочку Двейру-Дору. Время было малорадостное. Наша галантерейная лавка сгорела, и вообще мелкий продавец - мой отец, и без того бедный, перестал существовать. А жить надо, дети просят кушать. Не знаю, что предпринимали, знаю, что все было неудачно. Купили коровенку, комолую, безрогую, она убегала из стада, и мы ее искали, всегда искали. Чтобы мы пили молока вдоволь, этого я не помню. Помню мамино очень грустное лицо, потемневшее в ее 40-летие. Причесывалась она наскоро около зеркала – трюмо, и я поднернулась. Она меня погладила по голове и сказала: “чтоб тебе дочка жилось лучше, чем мне”. Что-то она пробовала шить для

людей, кем-то служить, помогая людям. Масла мы не видели вообще. Однажды я попала в дом к богатому купцу и увидела на столе масло, я была очень удивлена и до сих пор помню, как рассказывала маме о виденном.

Отцу покупали ситный хлеб, и он обрезал корочки, а мы смотрели ему в рот и слюнки текли. Покупали мы картошку в деревне, летом ели гнилушки-груши, очень вкусные. Мы вот еще все же обходились, а Рабиновичи голодали и детей отпускали в люди, старшую Хану и Сарочку. С Полиной мы ходили в школу, там немного нас подкармливали.

И вот в такое тяжелое время моя мама родила дочку и молоко у нее застоялось - была грудница. Помню 10-летнюю, как моей маме, уже немолодой женщине, было тяжело, как она стонала, и я сказала - “мама, давай я”. Прилегла к ней и отсасывала ртом материнскую грудь и выплевывала, так постепенно она отошла.

Берточка, младшая дочь Вольфсонов, выбежала во двор со сковородкой, на которой слоем тонким, как папиросная бумага, лежал омлет. Для нас это было неслыханная роскошь.

Мама была занята каким-то трудом вне дома и я, уже школьница, должна была ухаживать за ребенком, укачивать в люльке - коляске, плетенной. Девочки-подружки манили на улицу, я не могла дождаться, пока сестра уснет и налегла на качающиеся ножки, быстрее, быстрее, пускай засыпает, и тут качалка накренилась и перевернулась. Девочка выпала и расплакалась. Я испугалась. Слава богу все обошлось, цела и невредима.

В этой спальне стоял большой платяной шкаф, и я любила вытаскивать мамину одежду и наряжаться. В эти голодные и холодные годы (было мало дров, домик был старый и мы всегда мерзли и грелись у печки-голландки, протирая ее спинами и залезая в духовку), я вытаскивала длинную черную шелковую юбку и тончайшую белую в черный горошек пышную мамину свадебную кофточку и наматывала все на себя. Мама иногда меня заставала в этом одеянии и мрачное ее, осунувшееся лицо выражало сожаление о несбывшихся мечтах. Папу в эти годы я тоже помню худым, мрачным и даже злым и нервным по отношению к нам, ребятам. Ну, а мы – летом бегали по двору, по улице, к речке, к ребятам, а зимой, плохо одетые, околачивались дома в зале. Мы бегали вокруг

большого длинного стола, прятались за его фигурными ножками, цеплялись друг за друга, иногда дрались, наваливались кучей и снова бегали, пока не получали стукача и, плача, все начинали заново.

В один из солнечных дней конца августа к нам пришли гости - приехавшая из Москвы тетя Малка и ее младший брат Михаил, который учился в Ленинграде в медицинском институте и, без согласия своих родителей и всех родных, вдруг женился на Хае Пастрон, девушке бойкой и как говорили вокруг - не для него (мать Гени). Малка мне привезла отрез ситца с коричневыми разводами, тут же разложила его на столе, вырезала шейку, рукава кимоно и сказала - сшей сама, возьми иголку с ниткой и сшивай аккуратно, а воротник сделай круглый с отворотом. Это была моя первая самостоятельная работа и забота о моей творческой жизни - моей маме было некогда меня обучать, надо было зарабатывать на жизнь.

Соседями нашими по дому были пожилые люди - в одной комнатенке жил старый холостяк, в другой пожилая пара. И вот эта пара распалась, вдруг скоропостижно умер муж, и мы все участвовали в похоронах. По еврейским законам нельзя было женщине одинокой жить вместе с одиноким мужчиной, и меня поселили к этой женщине посредником. Спала я на твердой кушетке и мама мне постелила свое чистое, - все как следует. Как я испугалась, когда через несколько дней я зачесалась и пока терпела, не понимая причину сего. Когда рано утром все спали, и я посмотрела подмышку, то страшно испугалась. Лениво ползли во швах огромные белые жирные вши. Я расплакалась и больше там не ночевала. Мы сейчас не знаем, что такое вши, а ведь я помню их, и не раз. Были потом еще вши в 1933 году в Хабаровской больнице, где я лежала больная брюшным тифом, были они в 1943 году - голод, ничего не поделаешь. Я своих трех детей защищала, чем могла - активно боролись со вшами, но они запомнились, вероятно уж очень надоедали и пугали.

Первые школьные годы мало запомнились. Пошла я рано в школу и почему-то не в подготовительный класс (как следовало), а во второй, где учила тетя Малка. Сидела на последней парте, и все ученики смотрели на меня с подобрастием (племянница учительницы), пока я не поняла, что надо учиться как все. Помню свои первые каракули. Это было тогда, когда дядя Михаил привез

мене альбом рисовальный с цветными карандашами. Это было новость и роскошь. До сих пор мы писали на клочках, а я пользовалась валявшимся у нас конторскими книгами - узкими, длинными. Уже в третьем классе мне тетя Малка привезла из Москвы тетрадь в косую линейку из плотной с блеском бумаги. Я гладила обложку тетради и положила ее на ночь под подушку. Ночью я вспомнила о ней, встала, вытащила ее и с нетерпением дождалась утра, чтобы вывести на первой странице аккуратные, длинноногие немецкие буквы готического шрифта.

До школы идти мне было далеково и мерзли руки, ноги. Отогревались мы, прия домой, в огромной духовке, раскрытой в спальне, и дрались за место ближе к ней. Весной и осенью я одевала мамин широкий шерстяной жакет и подпоясывалась туго. Мои пушистые рыжеватые волосы заменяли мне шапку, о платках мы вообще не знали. Нижним бельем нам служил шпенцер - байковый комбинезон на пуговицах на спине и поперек поясницы. Их мама каждую неделю стирала и постоянно чинила, и они переходили от старших к младшим.

Еще помню, что в животе всегда урчало и под ложечкой сосало - хотелось есть, и домой мы не шли, а бежали. Своих учителей мы звали по имени. Моим учителем был Могилевский Мейлах и звали мы его "учитель Мейлах". Он был подслеповат и неуклюж и, кажется, вечно голоден и несчастлив. Мы с ним общались не только в школе, но бегали к нему домой, что там делали - не помню. Была у него племянница - Лиза Чарная, которая была моей задушевной подругой, и я у них околачивалась. Отец у нее был дантист и к ним приходили лечить зубы из окрестных сел и платили натурой. Вокруг этих продуктов и я кормилась. Она очень дорожила своей дружбой со мной, но вскоре отец ее умер, что-то я дальше не помню о ней ничего, но очень часто вспоминаю милую, кудрявую, близорукую Лизу и даже искала ее в Ленинграде - уже в 50-ых годах, но увы....

Еще я искала в Ленинграде моих троюродных сестер Мани и Нину (Нехамку), с которыми мы в одной спальне, тесно, кровать с кроватью, спали, украдкой грызли мацу, помогали моей маме по хозяйству и выслушивали папины нарекания о дармоедах в ноге-коге. Мания была уже барышня и ходила вечером гулять, а мы ходили хвостом. Время мы проводили на парадном крыльце в доме

Вольфсона, теперь уже занятом таможней. Молодые служащие этой таможни ухаживали за Маней и другими ее подругами, засиживались допоздна на каменных скамейках, где грызли семечки и гуляли по кругу на шоссе. Гулянье начиналось к концу дня и продолжалось до глубокой ночи. Было ли оно ежедневным или в дни праздников?

Я тоже ходила с Ниной гулять. Мы брались по двое-трое под руки и чинно шли по тротуару, как на демонстрации, туда, т.е. к базару, и обратно - другой стороной, до коммерческого училища. Тихо перешептывались. Бывало заходили в кондитерскую съесть пирожное (если попадалась такая возможность или кто-то уговаривал). Чувство гордости, что и мы как все. Одевались в лучшее, причесывались, как взрослые, аккуратно. Приходили домой на цыпочках, чтобы не разбудить папу и не услышать его ворчание. Наши комнаты были оклеены газетами и мы, просыпаясь, читали лозунги, стихи и т.д. Мы знали и распевали все песни - "цыплёнок жареный, цыплёнок варенный, цыплёнок тоже хочет жить. Его поймали, арестовали, велели в тюрьму посадить".

22 января 1924 года к вечеру к нам пришла тетя Малка и рассказала, что умер Ленин. О Ленине мы много слышали хорошего, читали в газетах и все, что печатали. Слышали мы и о его соратниках - Лев Троцкий, Рыков, Бухарин, Зиновьев и др. Тогда они все еще не были оппозиционерами и не были изолированы. Мы стали гадать, кто же заменит Ленина, говорили - Рыков, а мой старший брат Абрам сказал, что он бы хотел стать на его место. Ему папа сказал - вот и учись, старайся. Мы уже тогда во 2-3<sup>ем</sup> классах учили политэкономию, писали рефераты и диктанты - конспекты о Ленине, о Советах, об Октябрьской революции. Помню, как я помогала старшему брату учить диалектический материализм - читала и объясняла ему.

В 12-13 лет я уже была политически активна и подкована. Была такая организация - "Спартак". По-моему, она существовала еще до пионерской организации. Каждый спартаковец имел посох-палку толщиной как ручка лопаты, хорошо, гладко отструганную, длиной в метр - 1<sup>20</sup>. Мы ее носили как винтовку. С ней мы маршировали, ходили в строю, учились строю, распевали песни. Очень гордились мы, когда маршировали по улицам Слуцка в праздничные дни, в воротах широниках, сделанных из единого сатина. Это была

обыкновенная, широкая на резинке юбка, швы были не по бокам, а спереди и сзади. По середине юбки был разрез до середины, который застегивался пуговицами. Когда застегивали пуговицы, вокруг ноги получались шаровары. Кофточки были белые. Позднее мы уже носили красные галстуки, значки с костром, а костюмы одевали комсомольские из хаки - брюки галифе, рубашки на выпуск с застежкой и воротником, подпоясывались ремнями и даже с гордостью одевали портупею, ремни через плечо. Всю эту форму заканчивала фуражка.



Пионерка – комсомолка  
(средний ряд, 3-я слева, Полина Рабинович - 2-я справа)

Объединялись мы, спартаковцы, в клубе имени Переца<sup>3</sup>. Это был еврейский клуб. Им руководили наши еврейские учителя и вся работа проводилась на еврейском языке. В этом клубе я подружилась с девочками Рабинович, с Перлечке - моей ровесницей, и ее старшей сестрой Саррочкой. Я в этом клубе была не привилегированной, т.к. была не пролетарского происхождения. Приняли меня в этот клуб, можно сказать, из-за тети Малки, которую очень уважали. В руководстве клуба были старшие, уважаемые нами и очень, очень преданные делу клуба товарищи, как Мовшович, Лиснянский, Рабинович. Они в этом клубе дневали и ночевали, были подчас голодны, но не показывали своего состояния. Оживал клуб к вечеру. Обычно был доклад на политическую тему. Чтобы быть активной, я

освоила работу по составлению резолюции и писала их каждый вечер. Состояла она из общих фраз: "общее собрание, выслушав доклад тов..... констатирует - дело Ленина победило! Великая Октябрьская революция.....! .....обязуемся.... Подписи.... Секретарь Т. Мосткова".

С какой гордостью я подписывалась и освоила стиль и однообразное содержание и пафос нового дела. Позже я стала пионер-комсомолкой. Помню парад, строй и каждому из нас старший пионервожатый повязывал красный ситцевый галстук и на груди значок, мировой костер - 5 острых пламенных изгиба, - 5 стран света. "В борьбе за рабочее дело - будь готов!" - и гром опрокидывался - "Всегда готов" !!Пели мы много и голоса были хорошие, звучные, и у меня был голос. Я даже пробовала петь соло и получалось неплохо. Это от труда, тренировки, труд - все перетрет!

Какие песни мы пели?

- 1.Керзон<sup>4</sup> рыбки захотел, захотел, и в Бело море полетел, полетел!
- 2.Сдох Пилсудский<sup>5</sup>, сдох Пилсудский, сдох.
- 3.Мы молодая гвардия рабочих и крестьян.
- 4.Наш паровоз летит вперед, в коммуне остановка.
- 5.Мы весь, мы старый мир разрушим до основанья, а затем - мы наш, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем!
- 6.Интернационал.

Наш клуб был еврейский. Назывался он - имени Переца и Шолом-Алейхема<sup>6</sup>. Позже нам отдали под клуб 3-4х этажное здание бывшего коммерческого училища, и клуб уже был интернациональным, с разными кружками и большой программой. Меня избрали председателем санитарной комиссии, и я была очень горда и сразу взялась за мытье окон на этажах. Полиночка была членом правления клуба. Активно я участвовала в работе переплетной мастерской и научилась этому делу. Основная наша работа была все же маршировка, агитация среди рабочих и крестьян (мы выезжали в окрестные села и ставили спектакли, декламация с пирамидами). Устраивали маевки в лесу, пробирались по секретным паролям, пели у костра, кружились, танцевали.

## г. Слуцк 1911-1926 гг.

Я и моя подруга по школе Этл Мулер сидим на террасе их небольшого деревянного домика и учим. Мы готовимся к поступлению в техникум, и обязательно московский. Месяц назад мы закончили семилетку и решили не терять попусту время и серьезно готовиться к поездке в Москву.

В школе мы все предметы проходили на еврейском языке, и он был нашим родным языком. Как отдельный предмет мы изучали белорусский язык, ну а русский язык мы, конечно, знали, читали Тургенева, захлебываясь, ночи напролет, но хорошо понимали, что поступить в Московское учебное заведение мы не сможем, если...целый день не будем трудиться.

Окна квартиры выходили на широкий, прохладный двор, грязный, без зелени. Я то и дело поднимала голову от учебника и исподтишка искала глазами на противоположной стороне двора, где на такой же примерно веранде копошились люди. Я хотела увидеть ЕГО. Знала, что он закончил второй курс Минского педагогического техникума и приехал на каникулы в свою многодетную, бедную и довольно неорганизованную семью. Отец был ремесленником, выпивал, и мать не сводила концы с концами. Дети были хорошие и все в свое время учились в нашей школе. Он был остроглазый, хотя в глаза ему я никогда не смотрела. Любовь наша была исподтишка. Еще в 5-м классе он мне дарил...краски, и я опозорилась перед своими. Положила я эти краски в карман светлого своего ситцевого платья. Ну, а мама взяла меня с собой в баню, а там в предбаннике эти краски растаяли и потекли вниз. Было стыдно, но я не призналась - откуда ко мне эти краски попали.

Помню записочки, которые он мне передавал. Одна из них попала в руки учительницы и, вероятно, мой взгляд выдал меня и мне было стыдно. Потом помню, что про него рассказали плохую историю, и я решила вырвать его из своего сердца - проходила мимо и на него не смотрела, но потом терзаясь и глазами искала его. Он окончил семилетку на 2 года раньше меня, поступил в Минский педтехникум

и сейчас вот приехал на каникулы. Девочки мне говорили, что он там имеет другую и мне было все равно, а все-таки...

Жила я тогда у дедушки - маминого отца. Бабушка умерла, и он остался один. Моя мама была обременена довольно большой семьей, а работать было негде и жить было нечем. Дедушка наш был уважаемый человек в городе, честный, спокойный и ему доверили заготовку пушнины и всякого сельскохозяйственного сырья. Он был на государственной службе, был членом профсоюза и получал 25 рублей в месяц. Жил он на квартире, занимал 2 комнаты у хозяйки, которая нам готовила обед. Моей обязанностью было поддерживать свои комнатки в чистоте, постирать для дедушки и себя, помыть посуду. Дедушка мне обещал в следующем году отправить в Москву учиться, что он и честно выполнил.

В Москве жили две мои тети - Ента Моисеевна, которая закончила Академию им. Крупской, и тетя Малка, мамина сестра, жили в Москве и Пастроны - мать Гени Борухович и ее дяди и тети. Много и ...никого.

Мой дедушка меня нежно любил. Если я иногда лакомилась сдобной булкой, которая была предназначена ему - он делал вид, что не замечает. Когда я всю ночь сидела за чтением Тургенева, он робко отзывался из соседней комнаты - "дочка, ведь ты не выспись". Если я загуливала до глубокой ночи с НИМ и, виноватая, тихонько стучала в окно, он поднимался, кряхтел и выговаривал тихо, чтобы хозяйка не слышала: "стучи громче, мне лучше, когда ты громко стучишь, я сразу поднимаюсь и тебе открываю, а то лежу, прислушиваюсь и не пойму стучишь ты или нет, и не сильно ли долго." В те тяжелые, полуголодные годы я у дедушки сносно кормилась и, как говорят, нужды не знала. Моя мама жила на Садовой улице, в прошлом улице богачей, а после пожара там осталась целой только синагога и 2-3 дома с одной стороны. Все остальное было пепелищем. Помню красивое, высокое, каменное крыльцо - парадное хозяйственного дома. За ним длинный коридор красивого дома с большими окнами на улицу. В моей памяти в этом доме помещалась таможня и помню некоего Смирнова - сотрудника этой таможни. Мы, дети и соседская молодежь, ночами околачивались на этом крыльце и грызли семечки подсолнухов. Вероятно, этот дом был конфискован, а хозяева Вольфсоны жили в

боковой квартирке этого же дома. Двор был большой, с хоз. постройками, уборной в глубине, тоже каменной и почему-то не загороженной. Домик, где мы жили и еще одна еврейская семья, помещался в глубине двора с окнами к уборной, и нам интересно было в них заглядывать. Крыльцо нашего дома, да и сени, были дощатые и перекошены. Дом был низкий, но просторный. Помню большую кухню с русской печью, длинный кухонный стол с табуретками, большую столовую тоже с длинным столом, накрытым kleenкой с висячей керосиновой лампой. Вдоль стен стояла старая барская мебель - зеркало, книжный шкаф и кровать, и 2 спальни, одна за другой, одна из которых была девичьей. Дело в том, что в голодном 20-м году из Саратова к нам приехала семья двоюродной сестры моей мамы - ее муж и 2 девочки Маша и Нина. Их мама умерла там от туберкулеза. Поселились они у нас временно и девочки, старше меня на несколько лет, спали со мной вместе в этой спальне. Отец девочек уехал устраиваться на работу. Так теперь говорят, а честнее поехал в Минск кое-что купить и продать здесь подороже, т.е. заработать. Это были годы бандитизма. На обратном пути весь груженный конный обоз с товаром был окружен бандитами, которые всех живых привязали к дереву, облили керосином и подожгли. Так погиб Исаак - отец Маши и Нины Буниных. И девочки навсегда остались у нас.

Мой отец нашу спальню почему-то называл «ноге-коге». Это что-то из Талмуда. В другой спальне стояли кровати мальчиков, была духовка, где сушились все наши вещи, выстиранные вечером мамой, чтобы утром их одеть чистыми. Еще я помню пожар в центре города. Это когда менялась власть, какая на какую я не соображу и сейчас, т.к. были поляки, белогвардейцы, большевики и т.д. Помню, отец прятался в погорелых домах, а я бежала за ним, и он пригрозил, чтобы я ушла. Это мне было, вероятно, около 10 лет. Училась я в еврейской школе, а пошла туда в 6 лет в подготовительный класс. Тетя Малка была учительницей в первом или втором классе, и я убежала к ней - никак не могла понять, почему мне нельзя туда, где она. Помню себя в большой вязаной кофте, маминой, и помню, что всегда прыгала, т.е. подскакивала. Еще помню - дошла до базара и обнаружила, что забыла тетрадь. Вернулась домой, а по пути меня

арестовали, кажется, немцы или поляки. С раннего детства помню - лся крев, - это по-польски ругательство.

Еще помню - мама родила и у нее была грудница. Как сейчас помню - я прилегла к ней и отсосала ей весь гной - сосала и плевала в мисочку. Еще помню - проснулась ночью от маминого плача, такого надрывного. Я вскочила и зашла в залу. Папа, мама и чужой молодой человек, кажется - Исрол Цукович (мой двоюродный брат). Что-то мама жаловалась на папу. Я стала около мамы и как бы ее защищала.

В моей памяти более отчетливо - моя политическая активная деятельность. Клуб им. писателя Переца. Каменный двухэтажный дом, внизу переплетная мастерская. Собрания с докладами, кружки, постановки. Были талантливые певуньи, танцы в бумажных костюмах. Ставили сказку - как девочка уснула и ей сняться цветы, которые поют и пляшут. И вот, я в роли девочки сплю, а цветы еще не закончили свою роль, и я раньше времени проснулась и был конфуз. Долго не могла опомниться от стыда.

Активна я была в трудовых делах и меня избрали председателем санитарной комиссии. В активе клуба были Сара Рабинович, Мовшович (муж Фани Иосифовны). Полиночку очень любили, она была председателем правления клуба.

Наступил НЭП<sup>7</sup>. Мой отец открыл галантерейную лавку и торговал мелочью. Нужда не уходила, но чем-то жить надо было. Я была пионеркой и на собрании писала резолюции - "Собрание юных пионеров, выслушав...констатирует...". Мое социальное положение меня очень смущало, хотя за активность ко мне были снисходительны. Я таскала из лавки бумагу, картон, ящики - все, все для своего клуба. Он был мне милее дома и...родных, особенно отца. В его лице я видела нашего классового врага.

Ситный хлеб. У папы был больной желудок и ему покупали ситный. Вечер. Он сидит в зале за столом и аккуратно обрезает у ситного корочки. Мы, дети, наблюдаем и потом набрасываемся на них. Папа высыпает на стол мелочь и считает - сортирует монету к монсте.

Мама в четверг чистит много моркови на цимес. В пятницу топится русская печь и мама готовит на два дня - цимес, холодец, чолня, кишке - все это ставится на ночь в жаркую печь и с аппетитом съедается в субботу днем, в пятницу вечером. Праздник. Ничего

делать нельзя - надо отдыхать, богу молиться. Не очень были верующими мой папа и особенно мама, но на людях надо соблюдать. Синагога была рядом с нашим домом, огорожена высоким деревянным забором. Во дворе мы всегда играли в прятки. Мужчины одевали на себя талэс (белое покрывало), надевали на лбу и пальцах ремни и молились, стоя спиной к стене. Молитвы я не знаю, но понимаю - благодарили и просили. Женщины занимали места в галерке, головы прикрывали платками. Помню, приезжали изредка певцы, и тогда весь еврейский народ валил в синагогу.

Суббота была очень разумным праздником, кроме отдыха он давал человеку разумную разрядку. Накануне купались, одевали все чистое, праздничное, обувь блестела, спали, ели, ходили в гости, днем отдыхали до глубокой субботней темноты.

Особым праздником была Пасха - Пейсах. К ней готовились тщательно. У моей мамы на чердаке, запакованный в ящиках, ждал полный набор посуды - пасхальной. Дом весь преображался. Все обыденное вытряхивалось, выметалось, вытаскивалось. Все старое называлось хамец, к пасхе негодное. Мыли, скребли, kleили, красили. Моими обязанностями было после выставления зимних рам мыть окна, обновить висячую лампу цветной папиросной бумагой и тщательно мыть полы. Мама стирала, крахмалила белье. Шили каждому что-то новое. Мацу покупали из белой муки, а в голодные годы - из черной. Помню темную, твердую мацу, которую не укусишь без замачивания, и пекли мы ее дома сами - домами, т.е. друг другу помогали. Маца укладывалась в большие плетенные корзины и накрывалась белой простыней. Поесть ее манило задолго до пасхи, но было запрещено. Корзины ставили в нашей девичьей, и мы тихонько ночью...хрустели. Из мацы в пасху мама делала всякие деликатесы - галушки (кнейдлах), галки. Помню - сейдер, т.е. сам праздник за столом. Белая скатерть, в графинах красное самодельное вино. У каждого кейса (бокальчик), а большой бокал с янтарно-красным вином для НЕГО - бога. Все нарядные, веселые в ожидании. Самый младший, 13-летний, спрашивал катес (вопросы) - нараспев, и все ему отвечают тоже нараспев. Почему - история о том, как евреи вышли из неволи, как жили без хлеба и вынуждены были печь мацу, дверь приоткрывалась для НЕГО, чтобы ему вместе со всеми участвовать в праздновании. На стуле около отца под подушкой

лежит спрятанная мача - ее должен найти 13-летний. Найдет ли? Все смешно, но радостно и уютно.

Подстриженный, раскрасневшийся, в праздничном костюме - хозяин, отец большого семейства. Мама - всегда занятая, озабоченная - сегодня царица, хозяйка, мать большого семейства. Она делит курицу на всех, чтобы не было обидно. Каждому по заслугам. Отцу - крепкую полку - он держит семью на своих плечах, девочкам - крыльышки - им придется улетать, а себе она оставляет ...ничего - попочеку. Моя хорошая мамочка, даже лицо ее я забыла.

Что еще я помню про Слуцк? Я пионерка, потом пионер-комсомолка. Несмотря на мое непролетарское происхождение, мне доверяют. Я марширую в строю с посохом подмышкой. Мы поем - Керзон рыбки захотел, Керзон в море полетел. Эх Пилсудский, эх Пилсудский, эх. После собраний мы увлечено поем Интернационал<sup>8</sup>. Домой идем стайками, в ботиночках по глубокому снегу, в старом пальтишке. Не идем, а бежим, и долго потом отогреваем замерзшие пальцы и с огромным аппетитом и жадностью поедаем вкусную, застывшую картошку, запивая ее огуречным рассолом. Устраивали маевки в лесу, подальше от людей. С замиранием сердца, волнуясь я бегу от одного связного к другому, твержу по дороге пароль, а на дворе уже ночь, и надо не заблудиться и успеть к костру вовремя. Горит костер, печется картошка, которая будет нашим ужином, и мы в один голос поем - эх картошка, объеденье, денье, денье, пионеров идеал, ал, ал, тот не знает наслажденья, денья, денья, кто картошки не едал. Эх, ты милая картошка, тошка, тошка... Слава нашей белорусской картошке! Что бы мы делали без нее? Самые вкусные блюда я помню - и запеченная, и картофляники, тейхаусы, и с поджаренным луком, а с рассолом она была бесподобна. У моего брата Левы был хороший аппетит, и он способен был съедать целый чугун картошки с эмалированной поллитровой кружкой рассола, а живот у него был большой - мы хлопали его по животу и называли «картофляником». А ребра его легко было сосчитать и весь был худ - только одни голубые глаза смотрели на выкате. Соседка, с детьми которой я играла, говорила - "вот Танечка, золотая девочка, целый день играет и даже кушать не просит".

Свои счастливые пионерские годы, когда меня приняли на равных в большую трудовую семью, были связаны с семьей Рабинович. С

Полиночкой мы учились в одном классе. Она была очень мила. Смугловатая, немного с пушком на нежной коже, она была младшей в семье. Старшая Аня уже зарабатывала на жизнь у чужих людей. Сарочка - пламенная революционерка, была зачинщицей в клубе Переца и соблюдала честно все законы нашей пионерии и потом комсомолии. Она была принципиальной во всем и ревниво следила за нашими, иногда детскими шалостями, отступлениями от нормы, - "нельзя, Сара Рабинович идет". Борис, их брат, был гордостью семьи, и он бывал дома редко. Где-то в местечке у него была невеста Циля. Домик около синагоги, за рекой, домик на курьих ножках. Комнаты крошечные с маленькими низкими оконцами, глядящими в большой проходной двор. В задней комнатке отец - почти всегда лежал и молился. Мать была небольшой и незаметной, тихой женщиной. Слышала я от своей мамы - надо для них собрать - это значит, что хлеба дома нет, нечем жить, кормиться. Потом я уже помню не дом, а удлиненную комнату, где они жили уже без родителей (умерли папа с мамой). Я у них околачивалась, помню меня считали хохотуньей, относились с любовью, но снисходительно. Аня уже работала где-то, а Поля с Сарой все еще учились. Наконец, помню барскую квартиру на Пролетарской улице. Эта квартира была конфискована у бежавших от революции богачей и дана в пользование Борису. Обстановка бывших хозяев сохранена, Борис где-то разъезжает, Циля еще не переехала, и мы с Полиной бегаем по комнатам, гуляем вечерами по Пролетарской туда и обратно со всеми, как настоящие барышни и бегаем в клуб, в наш дорогой и любимый клуб, кому мы отдаем все тепло своих сердец.

Учились ли мы? Да! Помню школу - еврейскую и настоящую. Учитель математики - Брайде. Сухарь, мрачный человек лет 45-ти. Заходит в класс быстро и начинает. В классе мертвая тишина. Я ловлю себя на том, что задумалась и потеряла нить объяснения. Я стараюсь понять и, наконец, радость - поняла теорему. Учитель шагает туда и обратно и по многу раз повторяет теорему или задачу. Уже все подняли головы и молчат, а он как в гипнозе повторяет и повторяет, наконец останавливается. Я люблю математику. Писали мы на клочках, бумаги хорошей не было, - когда мне Малка привезла из Москвы несколько общих тетрадей, я одну из них отдала алгебре и

по задачнику Шапошникова - Мальцева перерешала все, от начала до конца.

Сейчас мне 65 лет, и я с внуком Игорем легко решают те же уравнения - запомнились на всю жизнь.

Способности у меня были, но училась я средне. Хорошо писала сочинения и все, однако, на тему - революция и Ленин. Они мне давались. Помню истмат<sup>9</sup>, ему уделяли много внимания. Мой брат Абрам, старше меня на 2 года, никак не мог его усвоить и вот мама заставила меня учить с ним диамат<sup>10</sup>. Помню - количество переходит в качество и т.д.

Перед моими глазами - вечер 22 января 1924г. Вся семья в полном сборе. Поужинали. Зажгли лампу. Еще шумно, и ребята бегают вокруг стола и играют в прятки. Пришла тетя Малка и рассказала всем последние новости. Умер Ленин! Насторожились все, приумолкли малыши. Что будет? Кто его заменит? Как пойдет жизнь дальше? Я убежала в клуб. Было траурно и мы собирались кучками и готовились к сбору. Траурная речь Могилевского - учиться, клятва ленинцев и слезы.

Последнее, что я помню о мамином доме, это отъезд папы. Мы все сидим на телеге, папа, мама и нас 5 человек детей. Дорочке 4-5 лет. Я уже барышня, мне немного стыдно ехать в телеге, но понимаю, что надо быть с мамой, с детьми и мы едем далеко на вокзал, по всей Пролетарской улице, мимо нашего клуба. Едут с папой еще несколько мужчин. Они едут из России в Мексику, а мама и мы остаемся. Уезжает папа не от хорошей жизни и не из-за политических убеждений, хотя он большевиков не любит и называет их шантрапой. Жить на самом деле нечем, работать негде, безработица страшная, да и папа никакого ремесла не знает, и к тому же его тянет в Америку, откуда он приехал молодым парнем для того, чтобы жениться и вот сейчас, обремененный семьей, неустроенной, он надеется там найти свое счастье. Туда не пускают и можно ехать в Мексику, которая рядом и вот оно - едет туда, а потом заработает денег и возьмет к себе жену и детей. Ему мерещилось, что он будет жить бережливо, будет экономить во всем, будет вешать колбасу, чтобы смотреть на нее, а кушать будет хлеб с водой, как он нам рассказывал делают все, которые хотят выйти в люди. Мать тихонько плачет, но на самом деле положение безвыходное. Едет папа не один и это успокаивает.

Накануне отъезда мать причесывалась у зеркала, и я подошла и стала рядом. Запомнилось - провела она рукой по моим курчавым волосам, и сказала - «Дочка моя, пусть тебе живется лучше, чем мне». Поезд ушел и увез нашего папу. В следующем году в Мексику поехали еще несколько семей, и папа наказал послать с ними Абрама, что мама и сделала. Учиться он не хотел, работать было негде, а там папа жил один и надо ему помогать зарабатывать деньги.



Наша семья перед отъездом папы, 1925 г.

К тому времени мне пришлось пойти жить к дедушке, и я приходила к маме в гости. Дедушка посыпал ей то муки немного, то кусочек мяса или денег, а сама она шила на чужих - мастером никогда не была и много не зарабатывала. Дети росли, и вместе с ними и расходы.

Последний мой год жизни в Слуцке, в городе, где я родилась и где родились мои родители, а может быть и прародители, был памятным. Я понимала, что готовлюсь к выходу в большую жизнь, что надеяться надо на себя. Надо грызть гранит науки, уважать дедушку, помогать маме и детям и обязательно вступить в комсомол

- заслужить это. В одно зимнее утро в дом пришла горькая весть. Сын дедушки, любимый и единственный, красивый и талантливый, работник - инспектор Белорусского Наркомпроса<sup>11</sup> в Минске - покончил жизнь самоубийством - повесился на полотенце в своей комнатке. Причин искать было трудно, но горю дедушке не было границ. Он порезал на себе всю одежду, посыпал золой свою седую голову, сидел на полу и плакал. Моя мама и тетя Малка заболели. Его жена и дочь Геня жили в Москве. Малка закончила академию им. Крупской в Москве и была назначена инспектором наробраза в Бобруйске. Ее жених ей изменил - женился на ее подруге. К этому времени появился Файвель Харах, который Малку очень любил, был хорошим, спокойным человеком, но не мог погасить огонь страданий в душе Малки. Файвель поселился в квартире дедушки, чтобы с ним остаться, когда я уеду учиться в Москву. Итак, последние месяцы мы жили втроем и у меня было больше времени для учебы. Мама мне сшила пару ситцевых платьев и одно комбинированное шерстяное. Все остальное было старенькое, но залатанное, чистое и вполне приличное для поездки в Москву. Денег дедушка для меня припас 25 рублей, это было достаточно на билет и на пропитание приблизительно на месяц, а дальше видно будет. Лето было теплое и на душе было радостно.

Я еду в Москву. Сколько уже было наслышано о Москве, и я там буду жить, пока у тети Енты, а потом поступлю, у меня будет, конечно, общежитие. Учиться, учиться и учиться - слова Ленина мы знали наизусть. И ОН рядом со мной. Днем мне некогда, но вечером мы гуляем до петухов. По кладбищу, которое близко от нашего дома. Он меня целует, клянется, что любит всегда и навечно, что мы встретимся обязательно. Он едет учиться в Одессу в театральную студию - педтехникум он бросает.

Последний свисток. Мою плетенную большую корзину, куда мама положила мою перину (как же без перины буду спать) погружают в купе на мое место, все выходят, машут, мама плачет, мы прощаемся, встречаемся глазами, и я еду. Рукой нашупываю на груди карманчик, куда мама зашила мои капиталы и пристроила билет, чтобы не затерялся. Я еду в Москву.

Больше я в свой родной и в детстве любимый город Слуцк никогда не возвращалась. Не пришлось. Жизнь меня подхватила и,

как говорится, понесла. В первые зимние каникулы, а они у меня были очень короткими, я поехала не домой к маме, а ... в какое-то местечко под Минском. Там жила Двейра Островская, ЕГО старшая сестра, которая тоже закончила Минский еврейский педтехникум и там работала учительницей. Зачем я туда ехала? Вспоминаю с горечью. ОН мне не написал ни одного письма и я, конечно, из гордости тоже, да и адреса его и судьбы его я не знала. Кто-то мне написал, что Двейра работает уже, и я поехала, чтобы что-нибудь о нем узнать. Мне кажется, что я даже не спрашивала о нем и вообще речи о нем не было. Может я и домой подъехала, там было близко, это стерлось из моей памяти.



Я уезжаю в Москву, 1926 г.

Чтобы закончить историю своей первой, горькой любви, доскажу - не все мои дети знают, что их мама тоже была когда-то молодой и грунной. Мы встретились случайно через 9 лет. Я родила Нюсеньку у тети Малки в Витебске и накануне 1-го мая 1935 года собиралась с ней в дорогу в Биробиджан к мужу, который меня с радостью ждал с сыном. Гуляла я по городу с подругой из Слуцка - Мнухой и вдруг увидела афишу - гастроли Одесского еврейского драмтеатра.

Участвуют артисты театра и его фамилия. Говорю, идем, посмотрим и его увидим. Пришла домой, рассказываю и смеюсь - увижу свою первую любовь. В театр шел с нами и Файвель - муж Малки. Первое действие мы спокойно посмотрели, но его нигде и ни в ком не узнали. Говорю - пойдем и поищем его, интересно ведь. Я не посмела, а Мнуха пошла за кулисы и вернулась с ним. Ноги мои подкосились, речь отнялась, я стояла и глупо смотрела под ноги, а он что-то мне говорил, и я рада была звонку - ушли на свои места. Чувствую за спиной теплое дыхание и его рука в темноте легла на мое плечо. Я сидела спокойно, но ничего не видела и не слышала из происходившего на сцене. Когда кончился второй акт, он взял меня за руку и повел. На стуле сидела женщина беременная - лица я не разглядела, т.к. не смотрела на нее. Он меня толкнул к ней и сказал - Таня, а это моя Таня, о которой я тебе много рассказывал. О чем мы поговорили я не помню, но осадок у меня был ужасный, я себя проклинала за все. Дура, дура! Шли мы домой и смеялись, больше всех я над собой, а пришли и рассказала Малке смеясь, хохоча. Она и говорит - ну тебя, поезжай скорей к своему Иосифу, а то еще понаделаешь глупостей. Это было 3-го мая - уезжали мы вечером, чтобы утром уже быть в Москве. Дел было много, Ниусеньке было 6<sup>ой</sup> месяц. Не мальчик, а кукла. Круглый, голый, улыбчивый и всеми любимый. Рано утром ОН заявился. Я была в халате и готовилась купать, стирать и паковать. Мы его всей семьей весело встретили, и я сказала спокойно (все прошло), что у меня весь день в хлопотах и напрасно он пришел так рано. "Я буду тебе во всем помогать – буду учиться" - весь день вертелся вокруг нас, а вечером вместе со всеми проводил на вокзал, и мы по-товарищески пожали друг другу руки.

Так как я кончала свою «историю» жизни в Слуцке, хочу, чтобы мои дети немного знали о наших родных. Тетю Малку – мамину младшую сестру все у нас знают. Она мне заменила родную мать, и я еще о ней напишу. Дедушка уехал к ней жить в Витебск, и я его еще один раз увидела и была с ним в 1932 году, когда я впервые приехала с папой (Иосифом) из Биробиджана.

В Слуцке жила в мои годы еще сестра дедушки - тетя Яхна с сыном Хаимом - Юдл. Тетя Яхна была энергичная женщина и держала лавку с зерном и управлялась. Ее сын Хаим Юдл был фармацевтом и служил в аптеке Гипчина. Крупный - похож на

Малку. О нем несколько слов. Он был старый холостяк. Женился он поздно на тоже немолодой Пастрон - двоюродной сестре Самуила и Хаи Пастрон, т.е. Гениной тете. О них рассказывали пару легенд. Когда Слуцк был оккупирован немцами, и все евреи были уничтожены, он продолжал работать в той же аптеке - немцам он был нужен как специалист и его не трогали. Когда он почувствовал или, может быть, подсказали, что готовится акция на него, он за обедом дал всем своим домочадцам и себе в том числе яд и вся семья - старая тетя Яхна, жена, трое детей, и он сам отравились и, таким образом, не дали себя на уничтожение немцам. Еще одна дочь тети Яхны (я ее никогда не знала) вышла замуж за русского (что считалось страшным грехом) и уехала с ним в Пензу, где Малка с мужем и детьми встретилась с ней в начале войны, в эвакуации. Ента Моисеевна - двоюродная сестра моей мамы и Малки. Она родилась и выросла в Бобруйске, и я с ней познакомилась в Москве, а подружилась уже после, когда мы жили в Великих Луках, и Клара поехала в Ленинград учиться.

Бабушка Песя умерла от болезни почек, когда мне было лет 6-7. Помню ее весной больной в постели. Вероятно, она долго болела, т.к. не выходила на улицу. Она меня подозвала, и спросила - река уже тронулась, вода пошла? Я с радостью ей ответила, что да, уже весна. Значит, я скоро умру - ответила она. Похорон ее я не помню. Она была выходцем из богатой, но обедневшей семьи Поляк - (по рассказам), и потому ее выдали замуж за хорошего из хозяйской семьи (это считалось привилегированным) молодого человека - острогитянина (местечко Остров), значит не городского и бедного. Я уверена, что она была с ним счастлива, т.к. мой дедушка был интеллигентный, тонкий, очень выдержаный и умный человек. А врач! Высокий, стройный, смуглый, костилистый. Любовь у нас с ним была взаимная. Он меня звал «дочка» и никогда громко не говорил со мной. Детей у них было 11, но выросли только четверо. Значит семеро детей умирали рано из-за разных болезней. Мама мне в горячую рассказала судьбу ее брата младшего. Он убежал из дома без согласия родителей, служил во флоте и домой не вернулся. Судьбу Мейшики (Михаила) я уже писала.

Моя мама любила какого-то простого парня и это не было принято, ее замуж за него не выдали. Она засиделась, как говорят, в

девках. А тут приехал из Америки красавец с усами, кудрявый, рыжий, и ее сосватали. Она мне говорила, что хотела любви, и она надеялась, что она будет, а отец был из другого теста. Человек, конечно, честный, порядочный, но мамину романтику не понимал, хотя всю жизнь был ей верен. Отец мой местечковый, его отец Лев рано умер, оставил мать и детей одних, и все старшие разъехались в Америку и Польшу.

В Слуцке жили мой отец с семьей (он вернулся из Миссисипи примерно в 1905-8 годах), его сестра Любке - мать Брони и Гриши из Ленинграда, и в дачном Уречье под Слуцком еще сестра Этл - мать Муси и Ани Резник. Старенькая бабушка Хая жила несколько лет с нами, и я помню ее сундучок с клубками разноцветных ниток - она всегда вязала. Я уж не помню, когда она от нас уехала или может быть умерла. Не помню. Очень мы любили тетю Этл из Уречья. Для нас, детей, было радостно летом ехать в Уречье. Дядя Самуил Резник был служащим на ж.-д. станции Уречье - заведовал горючим, жил в казенном большом деревянном доме. Во дворе был резервуар с керосином и было очень приятно и прохладно во время летней жары там лежать. Отправляла нас тетя с гамаком в лес и давала с собой мешок с провизией. Очень хорошо помню сыр (гомулка) - высушенный, как кость, творог. Мы его грызли. Была сдоба, фрукты. Говор у нее был особый - клокочущий, звонкий и очень приятный. Дядя Самуил был добряк и любил с нами шутить.

Помню! Утро. Все уже на ногах, а мы дрыхнем, гуляли допоздна. Ах, эти белорусские летние, пахучие ночи! Разве в 12-13 лет можно рано ложиться спать? Я накрылась одеялом и борюсь с дремотой. Дядя стоит лицом к стене в талесе и ремнях и молится, напевая..., и своими пальцами щекочет мне пятки, а я давлюсь от смеха. Лева Резник уже влюблялся в девочек, а Ханеле еще сосала губу, и мы ее дразнили, не хотели брать с собой в лес. Трава высокая, высокая, мягкая. Свалившись на нее, раскинув руки, и она тебя закрывает от солнца. Спишь. Сладко, сладко спиши. Помню я дом дяди Давида и тети Липке. Они обрабатывали шкуры животных и у них было в складах прохладно и сыро. Жили они на Болотной улице и кладки свистели, когда мы шли к ним. Помню отъезд их дочери Любы в Польшу, была красавицей (это мать Ханеле из Нью-Йорка).

У моих родителей было 5 человек детей.

1. Абрам родился в апреле 1909 года.
2. Тайба в июне 1911 г.
3. Лейба в августе 1914 г.
4. Михл в ноябре 1917г.
5. Двейра в августе 1921 голодного года.

Абрам закончил 7 классов в Слуцке, а в Мексике не учился, помогал папе. Женился 1-й раз и заложил 2-х детей Нохем и Песя, 2-й раз - 3 детей.

Лейбл в Мексике кончил школу, женился на мексиканке Чело и имел 6 детей - Люси, Шифра, Песя, Моисей, Лазарь, Ида.

Михаил имел сына Альберта (умер в 13 лет от болезни Боткина) и дочь Сильвия, 1956 года рождения.

Мой дедушка со стороны отца Мостков Лейба, бабушка Хая. Все братья и сестры отца, их дети и внуки живут в США.

Дедушка со стороны мамы Борухович Науман, бабушка Песя. Кроме мамы я много лет знала и любила ее младшую сестру Малку Борухович, она вышла замуж за Файвеля Харах, у них были дети - мои двоюродные брат и сестра Миша и Поля (Песя). Сейчас вся их семья, дети и внуки живут в США и Израиле.

Моя мама Шифра Наумановна Борухович, родилась в Слуцке в 1880 году, умерла в Мексике в августе 1962 года

Мой папа Исрол Лейбович Мостков (Mostkoff) родился в 1880 году в местечке Остров, умер в Мексике в 1956г.

Похоронены в Мехико на еврейском кладбище.

**Москва**  
**1926-1930-1931гг**

Все как во сне. Проводы, прощание, напутствия. Главное, наказ - обязательно взять на вокзале извозчика, и на это отдельно была отложена мелочь. Адрес - Большая Пироговская 2<sup>а</sup>. Полупустой вагон, деревянная полка, и я с огромной, но мягкой плетеной корзиной в одной руке и сумкой с провиантом в другой. Раскачалось и тронулось, пошло, потом все побежало, и я еду. Первый раз в дальнюю дорогу, даже в Москву, и одна и надолго, а может быть, и навсегда. Поездом я ехала несколько раз к своей тете Этл (мама Резник Маши и Ани) на станцию Уречье, что в 20-30 км. от нас, но дальше не приходилось. Сейчас будут пересадки, две или три, главная в Минске - большом, самом большом городе Белоруссии, о котором много слышала. Боялась ли я? Нет. Вспоминаю, как я на Белорусском вокзале в Москве влезаю в извозчичью пролетку и застегиваюсь ременной укладкой. Кучер огромный. Перевязанный ярким кушаком, берет рядом с собой мою корзину и везет меня по адресу. Я нисколько и никого не боюсь. Лошадь бежит трусцой, цок, цок копытами по камням, и вот мы остановились. Приехали, слезайте.

Это близко, Б. Пироговская, от Белорусского вокзала. Все, я приехала. Большой, белый, угловой, барский дом с какой-то башней. Со стороны переулка парадная дверь со звонком. Там меня и оставил извозчик. Я стучу в дверь. Несмело, потом смелее и еще. Никого. Оставляю корзину и заворачиваю за угол. Да - детский сад. Палисадник и дети бегают. Прохожая женщина понимает, что я провинциалка и говорит мне - у вас так корзину стаскат, это ведь Москва. Звонить надо, а не стучать. Я бегу за корзиной и уже смотрю через решетку и ишу глазами взрослых. Кричу. Ко мне подходит симпатичная женщина средних лет и я ей объясняю, кто и зачем я здесь. Она пожимает плечами, и сожалеет - Ента Моисеевна сейчас живет в Ленинграде, комната ее на замке. Вероятно, по выражению моего лица она все поняла - деться мне некуда. Калитка открылась, и она мне сказала - не бойтесь, я вас на улице не оставлю, вы будете жить у меня, пока приедет ваша тетя. Жила долго, сколько не помню,

и память о ней осталась у меня на всю жизнь. Кстати, мне всю жизнь везло на хороших людей. На следующий день она меня взяла с собой в центр, и мы сели в автобус. Это были маленькие автобусы с пружинными сиденьями. Я села и провалилась, и громко засмеялась. Все обернулись, и я сказала - «сидишь и едешь!»

Помню Москву 1926 года. Есенинщина. В автобус сели мужчина и женщина - голые. Много говорили о самоубийствах. Охотный ряд - ряды, где промышляли всем. Мы купили 2 кулька с древесным углем, им отапливались и готовили пищу. Мы сходили в музей изящных искусств. Потом я стала ходить пешком сама на Зубовскую площадь, Кропотkinsкую улицу через Петровку, к Мясницким воротам. Там, на Чистых прудах, жили Пастрони. 2 большие комнаты, но жителей в них было много. Моя тетя Хая успела выйти замуж и вместе с новорожденным Есей и Геней жили в одной комнате, Таня, Самуил и Фаня с мужем в другой. Я была у них нежеланная, но и не выбрасывали, и я ходила. Куда-то надо бы мне ходить.

Недалеко от них помещалось Баумансское техническое училище. Там, я узнала, трудно поступить. Но я с него начала. Подала документы и сдавала экзамены неплохо, по математике даже хорошо. В списке принятых, которые висели потом во дворе училища, моей фамилии не оказалось - было по 10 заявлений на одно место, и принимали в первую очередь детей рабочих и крестьян, а я была внученка деда, т.е. служащая.

Расстроенная, я пришла домой и нашла уже там тетю Енту Моисеевну. Она была недовольна. Без ее согласия прислали внученку, не предупредили. Дело в том, что Е.М. в нашей семье считалась аристократкой. Жила все годы одна, привыкла к строгому порядку и одинокой жизни. В общем, она поняла, что должна мне помочь поступить и отдалась от меня. В Наркомпросе у нее были друзья и они посоветовали поступить в сельскохозяйственный институт - там конкурс малый и главное кормят, когда работают. Я привезла туда документы и 2-3 недели ходила на работу в теплицы и сады. Нас кормили 3 раза в день. Утром и вечером было по утреннему каше со сладким чаем, а днем овощной обед, довольно скромный, и баня.

Приняли меня 7-ым кандидатом, то есть не приняли, но если 7-ые выбьют, то меня примут. Пока я работала и сдавала

экзамены, я освоилась и стала лучше говорить по-русски (знала я белорусский язык) и мы, кандидаты, двинулись учиться в подмосковный семеноводческий техникум на станции Битца, куда нас взяли без экзаменов. Мы и там потихоньку работали, и учились, ездили в Москву наведываться - есть ли место. Наконец в январе месяце меня приняли в Московский садово – огородный техникум имени Тимирязева, и я стала настоящей студенткой. Поехала к Е.М. за корзиной. Помню ступеньки, по которым я спускалась в ее сопровождении на улицу. Она сказала мне - до свиданье, - а я ее хотела поцеловать, но она отвернулась. Больше я не заходила туда никогда.

Нас в группе было 7 девушек и 19 мужчин. Больше всего было мужчин за 20, и даже за 30 лет. Были из ШКМ (школа крестьянской молодежи) из деревень Орла, Рязани и др. российских уголков. Городских было мало. Я училась хорошо, т.к. подготовлена была лучше других. Евреев было нас трое - я, Ефим Бретнер и Рита Магидина. Подружилась я с Ксенией Андреевой, и о ней хочу рассказать подробнее. Она была чувашкой. Ее мать привезла в годы голода на Поволжье и оставила вместе с братом сидеть на лавке на Казанском вокзале. Их подобрали в детский дом, где они и воспитывались. О матери и брате она никогда не вспоминала, а может быть не знала о них. Она была маленькая, щуплая, но очень умная, можно сказать - талантливая. Наизусть знала Есенина, Блока и др., и я ей очень завидовала. Сердечная была, и всю жизнь, да и теперь я думаю, почему мы никогда не встретились в жизни больше?

Жили мы напряженно, но весело. Общежитие наше было в деревянном 2-х этажном доме на Кудринской площади, и ходили утром рано пешком в техникум, который помещался рядом с Трехгорной мануфактурой, мимо окон которой мы проходили. Работали в теплицах, на парниках, в поле. Наши ноги всегда были сырыми, и мы всегда мерзли, т.к. были плохо одеты. Я мечтала о черной юбке, белой батистовой кофточке и о крепких ботинках. Голода не было. Всегда мы что-то жевали, то ревень, то капусту, морковь, и желудки с удовольствием все переваривали.

Ботанический сад, где мы работали, мы знали, как свой огород. Одно время мы пристроились к профилакторию, который был при мануфактуре. Мы взялись ухаживать за цветами, и за это мы ужинали

и завтракали там бесплатно. Обычно мы в первую половину дня работали, приходили в учебное помещение голодные, замерзшие, с мокрыми ногами и, когда начинались уроки, и мы согревались, страшно хотелось спать. А вот наступал вечер, и мы промышляли - куда бы пойти. Хорошо, если это было после получения стипендии (мы получали 14 руб., из которых 8 руб. отдавали за питание). Первым делом мы покупали за 1 руб. - 100 конфет "прозрачных" - так они назывались на лотках «Моссельпрома» и сосали их без конца. Одну конфетку можно было сосать весь день.

Ходили в кино. С театром дело было хуже, без билета трудно было попасть. Помню целую историю - как мы смотрели премьеру «Любовь Яровая» с участием, кажется, Веры Пашенной. В кармане ни гроша. Пошли девчата пешком. И вот Никитские ворота, Охотный ряд и мы в Малом. Спектакль начинается, и мы с шумом вваливаемся - потеряли билеты. Были, да дорогой потеряли. Поверили, и мы на галерке. Сидим, смотрим и хохочем. На обратном пути урчали желудки, и мы решили без билета сесть в трамвай. Вагон был полный, но чем ближе мы подъезжали к Кудринской, народа становилось меньше, и кондуктор спросил - девочки, где ваши билеты? Ничего не помню. Все на ходу соскочили, а я упала на мостовую, и разбила челость, т.е. вывихнула ее. Долго ходила с кривой челостью.

Очень любила улицу Воровского. Через нее мы ходили в библиотеку и часами там просиживали. С Ксенией повадились одно время ходить в Публичную библиотеку. Оденешь все лучшее, - там надо раздеваться, поднимаешься по лестнице и видишь всю себя в большом зеркале. Сядешь за стол под голубым стеклянным абажуром и так тепло, приятно читать, читать, и вдруг звонок - уже 12 часов ночи, библиотека закрывается. Даже совсем незаметно пролетели 4-5 часов. Нанялись мы с Ксенией в уборщицы в рабфак, которым заведовала жена Ворошилова, кажется Екатерина Ивановна. Двое на одну должность. День я, день она. Мы одевали фартук, красную юбочку на голову, и подметали, мыли полы. Студенты приставали, но мы себя не выдавали, что тоже студенты. Ходили на вокзал разгружать товары - поднимала мешок картошки и несла легко. Несло было и трудно. Мечтали о любви, о материальном благополучии. Я однажды размечталась о шоколадных конфетах -

буду работать, у меня в шкафу всегда будут они, и я их возьму, когда захочу.

Выделялись несколько пар - наиболее удачные, им немножко завидовали. Они вроде и выглядели счастливыми, хотя не все сохранились до конца техникума. На 2-м курсе я подружилась с Гришкой Тухмановым. Мы вместе ходили в кино, даже однажды были в гостях у его брата. Не могу ничего вспомнить романтического, кажется и не целовались никогда, но тянуло к нему поговорить, погулять. Потом Валька его отняла. Валька была энергичная, веселая и легкая в обращении с парнями - сменила нескольких за 3-4 года, а на последнем курсе кончила жизнь самоубийством.

Ксения была замкнутая и внешне невзрачная. Однажды она мне рассказывала - «Сашка Макаров (25 летний красавец и запевала) объяснился мне в любви - разреши за тобой ухаживать, а я ему ответила - что я тебе капуста, что ты будешь за мной ухаживать?».

Надо сказать, что я была недовольна своей внешностью в те молодые годы. От солнца с ранней весны я вся покрывалась веснушками и нос у меня все время лупился, слезало по 10 шкур, обнаженные шея и руки тоже страдали от солнца. Мои густые, даже очень густые, слишком густые кудри развевались по ветру и мне казалось, что я похожа на ведьму. Приходилось делать шапочку из цветного чулка и втягивать в нее свои кудри. Одета я была плохо, как все, хотя могла бы попросить у родни на хорошее платье, но не хотелось выделяться. Я была серьезной и одновременно хохотушкой. Могла смеяться - заходить почти без всяких причин. Однажды меня выгнали из класса, т.к. я не могла успокоиться - перестать смеяться.

По военному делу был у нас учитель – военный по фамилии Стол. Однажды, когда мы стояли смирно в строю, он сказал, что если будут тяжелые испытания и нужен был бы ему верный друг, он бы выбрал кого? Все ждали и вдруг - Мосткову! Я покраснела, и все смотрели на меня.

Писем домой я писала мало и не скучала по дому, не переживала – так мне кажется.

Время летело, мы участвовали в выпускных вечерах старшекурсников и ждали своей очереди. Однажды на выпускной

пришел профессор Эдельштейн<sup>12</sup> и в выступлении рассказал такую притчу об Иване. «Одели Ивана в пиджак и сказали ему: Когда застегнешь первую пуговицу - поднимешься на определенную высоту, застегнешь вторую пуговицу - поднимешься выше, потом еще выше, и Иван закричал - понял, я все понял, и стал застегиваться и подниматься все выше и выше, а когда достиг неба и остановился, он не знал, как ему снова спуститься на землю. – Не будьте Иванами, живите на земле, держитесь за землю!».

Весной 1929 года нас распределили на колхозизацию. Меня послали в Пронский район Рязанской области. Коммуна. Ранняя весна, снег еще не сошел. Я веду школу агротехники. За длинным столом сидят в шубах мужики и бабы, ездим по деревням, смотрим с/х инвентарь. Работают кузни, чинят инвентарь, готовятся. Столовая, и все едят бесплатно - овсяный густой кисель, щи, сметана была очень вкусная. Вместе со мной из Тимирязевской Академии туда приехал высокий мужчина, черный, кажется по фамилии Свиненко. Однажды к вечеру он меня поймал, хотел применить силу. Но я с такой силой его ударила по лицу и открыла какую-то калитку, что ли собак его отпугнула. Вскоре он скрылся - боялся.

Ездили по деревням, кажется для бесед, с нами были музыканты, давали концерты. Почему-то много людей были с проваленными носами - я не понимала причины, потом мне объяснили - хронический и наследственный сифилис.

Однажды сижу в телеге с возницей и двумя женщинами, куда-то едем, вдруг - Татьяна, а какой вы нации? Я, говорю, еврейка. – Не может быть, ты совсем не похожа на них. Ты очень хорошая. А ты евреев видел, когда? - спросила я его. Нет, говорит - слышал, они евреи.

Хотя наша практика была непродолжительная, но я почувствовала себя крепче, захотелось скорее закончить учебу, быть с людьми, делать что-то полезное. В эту же весну послали меня в соседнюю с Москвой деревню - организовать посадку ранней капусты. Стародавние вели свою жизнь личное хозяйство и были в основном евреи, жили в хороших домах, знали агротехнику, а тут их приволочили объединили в ТОЗы (товарищества по совместной прработке земли) и нас, агрономов, послали руководить ими.

Помню, пришла в деревню рано утром по морозцу - на участке никого нет. Пошла по хатам, - и никто на посадку не идет - встречают меня одни старухи, молодые куда-то запрятались. Я несколько дней подряд ходила в ту деревню. Помню чайную. За столиками мужики пьют чай с блюдцем с маленьkim куском сахара за щекой. На столиках по большому фарфоровому чайнику на каждого. Все распаренные. И мы пили, и чай был на самом деле вкусный и сладость приятная.

Мы уже считались почти агрономами и ходили в организованные садовые хозяйства работать. Запомнилась победа! Каждому дали свои ряды дичков, пучок черенков, нарезанных с культурных сортов яблонь, в руку, и вязку мочала за поясом. С каким достоинством я, глядя на своих соседей - друзей по учебе, специальным окулировочным ножом делала Т-образный надрез на лучшей части дичка, срезала правильно глазок и, расправляя ножом кору дичка, всаживала его под кору, обжимая пальцами, как потом мочалой завязывала глазок с обоих сторон. Норма была - 1000 штук в смену. Ряды каждого из нас записывали, и по приживаемости глазков следовала оценка нашей успеваемости. Мои ряды хорошо прижились.

Я была активной комсомолкой. Читала газеты и журналы и вела подписку по всем курсам техникума. Последняя учебная зима была заполнена огромной тягой к Московской культурной жизни. Ходила я на все спектакли в театре Мейерхольда<sup>13</sup>, в Эрмитаж<sup>14</sup>, на выставки - вела, вела какая-то сила, я как бы прощалась со всеми.

В один из весенних дней меня зовут в учительскую, где телефон - один на весь техникум. Я бегу. Звонит Хая - «Таня, приезжай к нам. Приехала твоя мама с детьми. Она едет к отцу в Мексику». Я даже испугалась, но сразу же поехала. Мама была в Москве только несколько дней, но я их помню и помнила всю жизнь.

Моя мама! Ей тогда было примерно 50 лет, но выглядела старой, измученной, смуглой, и дети были худые, а Дорочка хромала - накануне отъезда упала и сломала себе ногу. Одеты они были в старых шинелях. Мама в пальто из шинели, выкрашенной в черный цвет, мальчики просто в шинелях, только простроченных немногими и ушитыми. Готовила маму к отъезду Броня - моя двоюродная сестра из Ленинграда. Это она их одела, чтобы не стыдно было на людях. Я заплакала от жалости и от стыда - да, да, стыда.

Поехали мы вместе в консульство куда-то в центр. Дело в том, что шифскарт - т.е. виза, была и на меня, а я сказала, что не поеду, надо мне кончить техникум. Мама не возражала, а тот, кто оформлял документы, свысока посмотрел на меня и усмехнулся - не помню, что он сказал, но что-то обидное для меня - вроде дуря! Одну ночь мама ночевала у меня в общежитии и помню - латала мне прохладившееся пальто.

Ходили мы все в мавзолей Ленина - мама смотрела в лицо Ленина заворожено, а выйдя, она сказала - «Дочь моя, не хочу я туда ехать, но другого пути у меня нет, если бы я могла работать здесь хоть уборщицей - только заработать на хлеб своим детям, я бы не ехала, осталась бы с тобой».

Что я могла бы для нее сделать? Мне еще год учиться в Москве и в стране безработица. Отец с Абрамом уже там. Мысли были о том, что я кончу техникум и поеду в Мексику - ведь едут же к нам из других стран и наши едут, я смогу через Коминтерн поехать даже на подпольную работу. И мама со мной согласилась, и бедная мама всю жизнь ждала меня, что я приеду не больше и не меньше как советским послом в Мексику. Так рассказывали мне через 40 лет мои братья.

Мама садет поездом, а потом пароходом до Мексики. Я ее провожаю. Только, когда поезд тронулся, и мама с ребятами мне стали машать, я увидела на глазах моей мамы крупные слезы, ноги мои подкосились, и я села, а поезд набирал скорость и скоро скрылся из виду. Я посидела, платком вытерла свое мокрое от слез лицо и пошла в свою жизнь.

Это последнее каникулярное лето я провела в Витебске у тети Малки. Неселе была маленькая. Мы жили на даче под городом. Малка и Файвель окружили меня вниманием и заботой, и я отдохнула от всего пережитого.

Последний учебный год был коротким. Нас ускоренно выпускали, т.к. на колхозификацию<sup>15</sup> и стране нужны были кадры для села, а мы без 5 минут агрономы. Мы сами старались насытить себя Москвой, т.к. понимали, что уедем и многим из нас Москвы не вернуть. Я получила билет на комсомольский вечер Маяковского в Краснопресненском доме комсомола. Помню плохо освещенный зал, деревянные подмостки, и большой, большой, длинный Маяковский.

Зал шумел, а он читает и читает. Мы, конечно, мало понимаем, да и шумно. Возгласы - «Мы тебя не понимаем. Он останавливается и говорит громко - Что не понимаете? Облако в штанах? Читать надо внимательно и понимать! - Почему ты ездишь по заграницам? - Он молчит и потом поднимает голову и тихо говори - Потому что - А он, мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой! Я иду домой, и почему-то тяжело на душе.

Через короткое время его холодное тело лежало в доме писателей на ул. Воровского, рядом с которым мы жили, и мы ходили его смотреть. Долго в моей тумбочке лежали газеты с его предсмертными стихами. «Все кончено! Любовная лодка разбилась о быт. Товарищ правительство - обеспечь мою маму». Всякие шли разговоры, а больше неблагожелательные.

Ходили мы в Политехнический слушать поэтов. Выступали Жаров<sup>16</sup>, Безыменский<sup>17</sup> и Иосиф Уткин<sup>18</sup> с Луначарским<sup>19</sup>. «Гармонь, гармонь - родимая сторонка, поэзия советских деревень». - Жаров. «О, Солнце, стой, о сделай милость, разве ты не видишь, что остановилось огненное сердце Ильича» - Безыменский. Звучал в моих ушах его - Партибилет - «Один лишь маленький, один билет потерян, а в сердце партии зияющий провал. Ты слышишь, партия?». Уткин - такой нежный, читал о шапке, о котиковской моей, о заплатах, которые клал на брюках и жилете.

Стоит перед моими глазами и Луначарский - быстрый, темпераментный и говорил о молодых поэтах с любовью. О поэзии, о будущей нашей жизни, о счастье быть молодым. Я шла домой пешком (не было ни копейки), или ехала в переполненном трамвае, а в голове шумели стихи. Вся жизнь впереди и прожить ее надо так, чтобы не стыдно было....

Мы распределялись. Шла контрактация, т.е. вербовка в дальние края. Выдавали деньги и закрепляли за магазинами, где мы могли купить что-нибудь хорошего из одежды. Я и Нина Лапина законтрактовались, и я купила шерстяное платье с каким-то красным бантом, а Нина голубое крепдешиновое платье. Готовились к экзаменам.

В моей голове роились мысли. А что, если пойти в райком ВЛКСМ<sup>20</sup> и проситься на подпольную работу в Мексику? Шел Конгресс Коминтерна<sup>21</sup>, я читала страницу в страницу, и меня еще

больше подогревало желание сделать что-нибудь большое. Я пошла. Рассказала все и про отца, про мать и про себя. Меня внимательно выслушали и сказали, что ответ получу. Шли последние приготовления к гос. экзаменам, повторяли материал. Звонок на перерыв. Я спускаюсь с лестницы и вижу на доске объявлений какую-то свежую напечатанную бумажку - объявление. Читаю и все закружилось - «Мосткову Т.И., как чуждый элемент, исключить из техникума. Освободить общежитие».

Девочки пришли в общежитие и застали меня на постели всю в слезах. Все молчали. Одна Ксения сказал - «Будешь спать со мной, не плачь и не сдавайся».

Жизнь шла своим чередом, все утром рано уходили на занятия, а я бегала по Москве. Голодная. Ходила в МОЗО, МОНО, МО, МОМИ<sup>22</sup>. Ходила день, неделю, месяц - везде обещали разобраться и везде отказ. Всюду я оставляла свои слезы. В техникум я больше не шла. Приходила поздно, когда все спали, а вставала тогда, когда все уже ушли.

Кто меня надоумил пойти на прием к Михаилу Ивановичу Калинину<sup>23</sup>? Была такая приемная, куда записывались и могли поговорить с самим М.И. Было жаркое лето. Я обессилела и всё и везде плакала. К родным не ходила, мне было стыдно, Малке не писала. Кормила меня Ксения - что-то приносила из столовой и давала денег.

Принял меня какой-то высокий дядя. Писал - фамилия, имя, возраст, откуда родом. Писал, писал и говорит - Ты моя землячка, не бойся, М.И. тебе поможет. Не плачь. Иди, иди, и толкнул меня в огромный кабинет, где за письменным столом склонилась бородка. Когда я несмело зашла и стала у стола, опустив голову, он читал все, что его помощник написал, потом посмотрел на меня и говорит - «Ты же молодец, аж в Мексику захотела, тебе и тут дел хватит - вот и работать в Биробиджан. Все будет хорошо. Что, твои замены кончились? Ты и так все хорошо знаешь. На!», и сунул мне бумажку, где было написано: «Розалии Самуиловне Землячке<sup>24</sup>. Раньшеитесь и восстановите. М.И. Калинин».

Я выбежала на жаркий проспект, побежала на Красную площадь, где в каких-то узких улочках помещалось НКРКИ. Нашла. За решетчатой перегородкой сидела высокая седая женщина, худая, в

длинной юбке. Я ее спросила - где находится Землячка, а она в ответ протянула руку и взяла у меня бумажку. Ничего говорить мне не пришлось. Она взялась за телефонную трубку, а мне сказала - садись. Я села на краешке стула и все не верила, что моим мукам конец. Запомнила я ее разговор с техникумом. Она им сказала - Выдайте ей аттестат, как всем, если у нее хорошие учебные отметки, немедленно, и сообщите мне. Посмотрела мне в лицо и сказал - Иди в свой техникум, там тебе уже будет все. Я даже не попрощалась, я бежала туда, где я была проклята, где мне все было ненавистно.

Кругом все было тихо. Лето. Каникулы. Все разъехались. Я стою у дверей учительской и боюсь ее открыть. Вдруг дверь распахнулась, и наш завуч со счастливой улыбкой тянет меня, и жмет руку, и поздравляет, и сует мне аттестат, что я закончила в 1930 году Московский садово-огородный техникум им. Тимирязева.

Не помня себя, я лечу в ОЗЕТ<sup>25</sup> - я еду в Биробиджан. Там, в ОЗЕТе, я чувствую себя счастливой - людей едет много, специалистов, а тем более из Москвы, рассказывают, что будет республика, а пока только район, тут же оформляют документы, дают немного денег, приглашают на совещание под руководством Смидович, заместителя Калинина.

Я еду в Биробиджан. Сборы мои были недолгими. Своими деньгами, полученными в качестве «контрактации». т.е. аванса, я расправилась в миг. Нам был отведен специальный магазин, где я купила себе фиолетовое шелковое платье с пестрым бантом и еще кое-что. Из нашего техникума ехало трое - Ефим Брейтер, Рива Магидина и я. Ефим успел жениться на нашей соученице, но курсом младше, и она с ним собрались и уехали раньше нас. Я с Магидиной - доброй толстячкой, поехали позже, ехали в вагоне с молодыми ребятами 10 дней, было холодно в вагоне, жестко на деревянной полке, но весело.

Прибыли мы в Хабаровск 12 февраля 1931 года рано утром. Стоял трескучий мороз. Направление наше было в Хабаровское Крайзо<sup>26</sup>. Транспорт еще не ходил, и мы со своим легким грузом пустились пешком. Дорогой нас останавливали женщины и с участием помогали растирать щеки, т.к. они полыхали от мороза - мы их уже успели подморозить. Наша вся одежда, особенно обувь, не соответствовала дальневосточному февральскому морозу

В помещении Крайзо было тепло, и мы отогревались, натирали обмороженные щеки и пальцы и ждали прихода сотрудников и начальства. Наше командировочное удостоверение было от Наркомата сельского хозяйства СССР. Разделенное вдоль на 3 части, оно удостоверяло, что я, Мосткова Т.И., командируясь в распоряжение Хабаровского Крайзо на постоянную работу агрономом по овощеводству. Одну часть - корешок оставили мне на память, одну пришили к делу в отделе кадров и еще одну отправили по месту будущей работы.

Нас всех трех направили в Биробиджанский район, а пока позвонили в Покровку директору совхоза Финкельштейну, чтобы он нас принял. Станция Покровка - это первая станция от Хабаровска на запад. Там был организован совхоз, и своего товарища Ефима с женой мы уже застали там, назначенным агрономом совхоза. Мы же были вроде на практике. Кормили нас в столовой сытно, учили ездить верхом на лошади, смотрели, как готовятся семена к посеву. Финкельштейн был человек добрый, небольшого роста и даже немного застенчивый, незаметный. Мы его сразу полюбили и оценили. Его молодая жена красавица Галя всех нас очаровала. Нам говорили соседи - он оставил свою жену и сына и женился на ней, почти еще девочке, дочери своей хозяйки в Крымском совхозе, куда его направили работать агрономом.



Ницца отъездом у Малки, Файвеля и дедушки Нахмана. Витебск, 1931г.

Шефство над нами взял управляющий отделением, мощный, седой мужчина, очень симпатичный, который когда-то был управляющим у помещика на западе, а сейчас поехал строить новую республику евреев на Дальнем Востоке. Нас одели в ватные костюмы - стеганные ватные брюки, заправленные в валенки, и стеганные фуфайки. Материал простой, хлопчатобумажный темного цвета - нам казалось, что костюм нам идет, а главное, было удобно и тепло.

И вот управляющий учит меня седлать коня, крепко в руках держать уздечку, взнуздывать коня и быстрым скачком садиться верхом. Чувствуешь себя хозяином положения, с гордостью направляешь быстрого коня куда тебе надо и не боишься ни быстрой езды, ни галопа. Аж дух захватывает от езды. С гордостью спускаешься и отдаешь концы уздечки управляющему, а взамен получаешь похвалу - «Будет из тебя и агроном, не боишься, молодец». С нежностью гладили мы первые тракторы «Интернационал», прибывшие в совхоз, садились рядом с трактористом, и даже пробовали включать скорость, а то и заводить трактор. Для последнего надо было иметь достаточную физическую силу.

Быстро пролетели дни в Покровке. Рива уехала в начале навигации первым пароходом в Амурскую область агрономом колхоза. А я поездом обратно на запад до станции Тихонькая, в 12 км. от которой находился новый еврейский переселенческий колхоз "Валдгейм"<sup>27</sup>, куда меня направили. Приехали мы на станцию Тихонькая уже ночью. Мы, это пассажиры, едущие местным поездом до этой станции. В пути, который продолжался 3-4 часа, все перезнакомились. Где мне ночевать, куда заехать? Даже такого вопроса не было. Ко мне подсел Соловьев - начальник переселенческого отдела и сказал - я живу у местного жителя, лесника, там и тебе место найдется, а завтра отправишься в свой колхоз «Валдгейм».

Я помню, как мы вышли на безлюдную маленькую станцию, которую, наверное, не зря назвали «Тихонькая». Была темная морозная февральская ночь. Я шла следом за Соловьевым, и мы пришли к высокому крыльцу, где толпился народ. Окна были ярко освещены. Соловьев забеспокоился. Жил он здесь пока без семьи (она еще не приехала из Минска), но он здесь уже освоился и все были

ему близки. Мы распахнули тяжелую, деревянную дверь, зашли в переднюю, и перед нами на соломе лежал хозяин дома, накануне убитый сваленным деревом в лесу. По обе стороны стояли его жена и малые дети. Спать в эту ночь мне не пришлось.

Утром я вышла во двор. Мороз был на 20-25 градусов, но солнышко ярко сияло и пригревало так, что холод ласкал больше, чем морозил. Под ногами скрипел слежавшийся и искривившийся снег, и в него можно было как в зеркало смотреться. На душе было легко. В переселенческом отделе мне сказали, что лошади из Валдгейма уедут в 4 часа дня, и чтобы я их не упустила. Меня будет ждать председатель колхоза Миша Школьник.

И вот я еду работать агрономом в колхоз «Валдгейм», пригородное хозяйство овощеводческого направления, имеющее теплицу, парники, небольшую площадь вновь освоенных земель под овощи. Колхоз живет уже 2 года и ведут овощеводство 2 китайских огородника, Володя - старый, сухой, и Миша - молодой, стройный красавец. Я буду агрономом, т.е. буду ими руководить, а на самом деле буду у них учиться ремеслу, делу - буду осваивать богатейший опыт, накопленный местными жителями этих мест - китайцами с их древней культурой выращивания овощей.

Я буду работать с людьми, в основном бывшими местечковыми и городскими, приехавшими сюда, чтобы жить, трудиться, иметь свой угол и кусок хлеба,растить детей. Люди пережили много на своей родине и вынуждены сюда приехать, чтобы начать новую жизнь. Люди, не привыкшие к тяжелому, физическому труду крестьянина и к новым, тяжелым климатическим условиям.